

*КОСТРОМСКИЕ ПИСАТЕЛИ
УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ*

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ И ДОЛГА



Кострома, 2005 г.



Литературно-художественное издание

Составление, подготовка текстов,
композиция сборника — М.Ф.Базанков

© Костромская областная писательская организация, 2005



ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

От составителя

Обыденными словами не передать чувств, вызванных воспоминаниями фронтовиков о Великой Отечественной войне, осмыслением пути к Победе. Мировая война — миллионы погибших, горечь потерь и страданий. Но, думая о Победе, испытываешь гордость за каждого фронтовика и труженика тыла, гордость за народ, явивший миру непревзойденный пример стойкости и мужества. По искренним воспоминаниям прошедших от первого дня до последнего, обозначенного флагом Победы над рейхстагом, великие сражения — огненные жернова, каждый неравный бой — крошечный ад. И все же человек не имел права привыкать к смерти. Пока идет бой «солдат... знает, что надо делать на войне... уж если свой взводный пошел, значит, все возможности к тому, чтобы не идти, исчерпаны... Дальше оставаться в окопе неприлично, дальше уж подло в нем оставаться, зная, что товарищи твои начали свое тяжкое, смертное дело и любой из них в любое мгновение может погибнуть».

Что происходило с человеком на войне в такие минуты? На пороге жизни и смерти о чем страдала его душа, куда обращался его памятный взор, какие слова и жесты родных доносились из мирной жизни? Такие вопросы в штабных документах не зафиксированы, они возможны в неспешном осмыслении пережитого, в документальных и художественных свидетельствах, необходимых сегодня для осознания глубинного течения войны. К такому осознанию и осмыслению обязывает празднование 60-летия Великой Победы. Конечно, важнее всего вслушаться в суждения знающих насквозь войну, постигавших ее солдатским трудом, прошедших разные дороги и судьбы.

Миновали годы, выросли дети и внуки победителей. Живые воспоминания и книги обращены к молодым для пробуждения доверия и ответственности перед жизнью. В доверительной простоте, в особенностях жизней достойных защитников Отечества открывается большая правда: русские солдаты, по словам Виктора Астафьева, как и в прежние трудные войны, приноравливались к смертному делу, как крестьянин приноравливается к новой земле и рабочий к новому процессу. Вся тяжесть войны остается — подтверждают эту мысль судьбы костромских писателей, прошедших свои «огненные версты».

Празднуя Победу, мы можем с помощью очевидцев грозных событий обрести надежду на продвижение к истинной правде о войне, естественно освободиться от бесчисленного множества мифов и откровенных фальсификаций

Есть необходимость конкретного взгляда на события военных лет, чтобы преодолеть смутное представление о том, каким был фронт от края до края. Патетика «эпических» представлений звала оглядывать большие пространства, рождала обобщительные мысли и торжественные речи, соответствующие глобальной теме и цели. Сегодня можно услышать самые простые мысли и слова. Через них мы можем понять, что простые мысли дороже всего даются, иногда для них требуется вся жизнь, не каждый успевает такие выстрадать. Война пошатнула устойчивые взгляды у наших предшественников, шагнувших в бой со школьной скамьи. Вероятно, они воспринимали мобилизацию как временную остановку естественной жизни, за которой обещано светлое будущее в мире без войны... Мы, возрастающие без отцов и старших братьев, стремились узнать, какими они были, всякое свидетельство реальных участников Великой Отечественной войны наполняло наше знание чувствительными подробностями, позволяющими выстраивать судьбы, характеры, душевные и гражданские достоинства.

Составляя сборник, напоминающий о костромских писателях фронтовиках, я чувствовал дыхание сурового времени, будто бы сама собой сложилась композиция по дорогам фронта и тыла от Костромы до Берлина и показались уместными стихи Юрия Баранова и рецензия на роман Владимира Корнилова «Годины».

ЮРИИ БАРАНОВ
(1922-1942)

Война, суровую неизбежность которой Юрий Баранов с удивительной для его возраста прозорливостью предвидел, застала его студентом геофака Ярославского пединститута. Пришлось оставить учебу и пойти работать на оборону в литейный цех завода. Призванный в армию, воевал под Калинином, учился во Владимирском военном училище, курсантом принимал участие в боях за Тулу, снова учился. А в июне 1942 года командир взвода 267-й стрелковой дивизии лейтенант Баранов погиб в боях под Новгородом. Ему было двадцать лет.

СЕГОДНЯ ОНИ БЕРУТ БАРСЕЛОНУ

Вздываются к небу проклятья и стоны,
В огне вся страна горит...
Сегодня они берут Барселону,
А завтра возьмут Мадрид.
От дыма пожаров померкло солнце,
Фашисты идут стеной.
Отвага и мужество каталонцев —
Под их броневой пятой.
И варвары эти свирепы, как волки.
Пустыней черной легли
Поля, виноградники и поселки
Прекрасной испанской земли.
И мнут эту землю фашистов колонны...
Чего же ты, мир, глядишь?..
Сегодня они берут Барселону,
А завтра возьмут Париж!

* * *

Ой, какие светлые дали,
Ой, какой голубой разлив!
Только я сегодня печален
И поэтому молчалив...
Скоро мир, что широк и розов,
Превратится в кромешный ад.
Скоро крылья чужих бомбовозов
Голубое небо затмят.

Где-то первый залп всколыхнется,
Где-то вспыхнет первый пожар.
Кто-то первый в землю уткнется,
Кто-то примет первый удар.
Позабудьте сказки и были
И не тешьте себя мечтой, —
Войны, все, которые были,
Перед этой будут — ничто.
Будет враг разбит и рассеян,
Но какой жестокой ценой.
Долго будет плакать Россия,
Вспоминая великий бой.
Сколько нас погибнет в сраженье!..
А годов через сорок пять
Наше светлое поколение

Будут с гордостью вспоминать.
Но, — прекрасно все понимая,
Но, — готовый идти на рать,
В этот солнечный вечер мая
Я совсем не хочу умирать.
Вот поэтому я печален,
Вот поэтому я молчалив.

Ой, какие светлые дали,
Ой, какой голубой разлив!..

* * *

Под ногами клонятся травы,
Мы идем выполнять приказ.
Ты меня не имеешь права
Забывать в этот грозный час,
Потому что здесь пули свищут
И какая-нибудь из них,
Может, сердце мое отыщет
И уььет неоконченный стих.

АЛЕКСАНДР АЛЕШИН
(1885 — 1943)

Александр Павлович Алешин родился в д. Святое (Некрасово) Костромской области. После окончания высшего начального училища работал переписчиком в нотариальной конторе. В 1915 году мобилизован и направлен в школу прапорщиков. На румынском фронте тяжело ранен, около двух лет лежал в госпитале, тогда и прочитал много произведений русской классики. После революции — солдат Красной армии, организовывал продотряды. В 20-х годах заведовал отделом в газете «Красный мир» и руководил литературным кружком. Повести и рассказы его печатались тогда в центральных журналах, было издано несколько книг. В 1929 году из Костромы переведен в Иваново, возглавил областной оргкомитет Союза писателей. Был делегатом первого съезда Союза писателей СССР. В 1936 году необоснованно репрессирован, освобожден по состоянию здоровья. Добровольно участвовал в Великой Отечественной войне, строил оборонительные рубежи под Ногинском. Там и умер в 1943 году. Был посмертно реабилитирован, восстановлен в партии и Союзе писателей.

ПРОШЛОЕ СТУЧИТСЯ В СЕРДЦЕ

Слово о родном брате

В журнале «Звено» за апрель — май 1934 года было опубликовано драматическое повествование Александра Павловича Алешина под названием «Волга глубокая». Шестидесятилетие со дня этой публикации — и есть первый повод напомнить читателям о талантливом земляке.

В январском номере газеты было рассказано о жизни и творчестве Николая Алешина. Сегодня публикуем его заметки о судьбе брата.

В двух с половиной километрах от Костромы, на пойменной низине рек Волги и Костромки, находится деревня в сто с лишним дворов. В давние времена она называлась Оново.

До Октябрьской революции большинство крестьян этой деревни страдало от малоземелья. Близость города позволяла кормиться побочным заработком: одни поступали на текстильные фабрики, другие все лето выкатывали из реки для тех же фабрик лес и пилили его, а зимой подвозили дрова к кочегаркам. Деревня пролетаризи-

ровалась. Дореволюционное ее прошлое правдиво изображено в рассказе моего брата Александра «Гусар», напечатанном в 1927 году в восьмом номере журнала «30 дней».

Чтобы дать краткие сведения об авторе рассказа, приходится сделать «огляд» в прошлое нашей семьи. Александр был первенцем среди нас, братьев. Мы подрастали. Наше будущее сильно беспокоило отца и мать: они владели пашней и укосом всего на «одну душу», и нам предстояло получить от них в наследство по мизерному клочку земли.

— Отдам в работники либо на фабрику, — одно твердил про нас отец.

Мать возражала:

— Чужой запряг да фабрика никуда не уйдут: в них никогда не опоздано. Не лучше ли определить учиться. В городское-то, училище нынче, говорят, из крестьян будут принимать. А плата в год только пятишница. Уж как-нибудь перевернемся.

И вот по настоянию матери Александр поступает в Костромское высшее начальное училище. Шел бурный 1905 год. В связи с разгромом черносотенцами демонстрации учащихся старших классов гимназия и семинарии во всех учебных заведениях начался пересмотр состава учащихся. Александру, как представителю «низкого сословия», грозило увольнение. Инспектора училища, дворянина Томазова, мать «едва укланяла» не выгонять парнишку. В шестнадцатом году Александр окончил училище и поступил переписчиком в частную нотариальную контору. Из юнцов нашей деревни он первым выбился на «чистую работу» с окладом 12 рублей в месяц. Проработав полгода, Александр завел «справную» одежду, и мать, ревностная староверка, побуждала его:

— Теперь такому любо показаться и в церковь. На святках приедет из Москвы владыка Иннокентий. Непременно иди.

Но Александра тянуло не в церковь, а в Народный дом, построенный для рабочих близ фабрики: туда его залучил страстный любитель сцены Василий Иванович Разумов, ставший впоследствии народным артистом СССР. Каждый день Александр прямо из конторы шел на репетицию и домой в деревню возвращался уже к полуночи. Мать журила его:

— Дело ли, связался с бесовской забавой? Похудел как одер. Знала бы — и учить не стала.

Хотя прежнее высшее начальное училище давало знаний не больше, чем нынешняя восьмилетка, но матери казалось, что Александр вполне образован. А он стыдился, что развит ограниченно, и, кроме участия в постановках, усиленно читал. Свои парни-однодеревенцы питали к нему досаду за то, что он не гулял с ними, не ходил по девичьим засидкам и не бражничал.

В 1915 году Александра мобилизовали. Ему едва исполнилось девятнадцать лет. На фронтах не хватало офицерских кадров. Был издан приказ — направлять в военные учебные заведения сыновей церковнослужителей, торговцев и даже крестьян. Александра отчислили из рядовых в школу прапорщиков. После шестимесячной строевой муштры, зубрежки уставов и беглого ознакомления с основами стратегии и тактики он был произведен в прапорщики и приехал домой в кратковременный отпуск. Офицерское обмундирование Александра для наших деревенских было более впечатляющим, чем присвоенное ему звание «ваше благородие». Лишь соседка тетка Хиония заявила матери:

— Ведь он теперь дворянин. Мать даже вздрогнула:

— Полно-ка, Хинуха. Еще кому не скажи. Да какой он дворянин? К чему ему дворянство-то, ну-ка рассуди? Чай он крещен, и у него свои правские метрики...

Сам Александр не только мало придавал значения своему званию, но даже трунил над ним, под гитару распевая ходовые в ту пору частушки, вроде:

Раньше был он дворник,
Отворял ворота,
А теперь на фронте:
«Стройся, моя рота».

Днем он больше сидел дома, читал книги, а вечером ходил в город, в театр. Вскоре его отправили в действующую армию. С румынского фронта, из Добруджи, он писал: «Зябнем в окопах. Обрывков Николая-угодника много, патронов — в обрез. Грожу из-за бруствера шашкой румынским и немецким артиллеристам и пулеметчикам». Той зимой, подняв свою роту в атаку, он был тяжело контужен разорвавшимся снарядом. Очнулся только на третьи сутки в одесском госпитале. Длительное время лежал без движения и не мог говорить от спазм в горле. Госпиталь был пересыльный, потому что портовый город часто обстреливался с вражеских крейсеров. Многих из него отправляли на излечение в родные места. Александр попал в Кострому. Всем из нашей семьи разрешалось навещать его. Он постепенно натренировался садиться на койке, опираясь на костыли, но его всего трясло, точно в лихорадке, и заикался он так, что едва произносил слово.

Позднее, когда Александр стал говорить без затруднений, он наказал ничего не приносить ему, даже сам каждый раз угощал меня печеньем. Я тогда тоже учился в первом классе городского училища и в пасхальные каникулы через день ходил к нему. На его тумбочке лежало много книг из госпитальной библиотеки: Л. Толстого,

Короленко, Чехова, Леонида Андреева, Горького, Аверченко и других писателей. Помню, однажды в палате при мне возник разговор по поводу этих книг между Александром и молодым красавцем поручиком Нарбековым. Бреясь перед круглым зеркалом, поставленным на тумбочку, Нарбеков язвительно сказал Александру:

— Я замечаю, прапорщик, вы вроде умничаєте: обложились книгами, а только листаете их да заглядываете то под гриву, то под хвост. Все в палате рассмеялись, а Александр спокойно ответил:

— Вы наблюдательны, но ошибаетесь, что я «умничаю». Я просто читаю выборочно, чтобы разобраться в стилях!

— В стилях? Зачем они вам, если не секрет?

— Ничего секретного. Вы недавно говорили, что Россия проиграет войну. Я абсолютно согласен с вами. Вы — кадровый офицер и гордитесь этим. А я, как вы правильно выражаетесь, «монета во временном обращении». Значит, должен заботиться о собственном будущем.

— Намерены взяться за перо?

— Непременно.

Александр находился на излечении почти два года. Пало самодержавие, свершилась Октябрьская революция. Александр был признан ограниченно годным и направлен военкоматом в Костромской губпродком организовывать продовольственные отряды для снабжения Красной Армии. Вырвавшись из стен госпиталя, он остро воспринимает каждое яркое явление новой жизни и не упускает возможности запечатлеть его в очерке или четкой зарисовке, которые публикуются в местной печати. Его принимают в партию и переводят на работу в редакцию газеты «Красный мир». Он ведет один из отделов газеты, занимается с рабкорами и руководит литературным кружком.

В 1923 году в Кострому приезжал Демьян Бедный на открытие Шунгенской электростанции. Пролетарскому поэту очень понравился рассказ Александра «Избыные солнца», помещенный в специальном номере «Красного мира», целиком приуроченного к пуску крестьянской электростанции. За застольем после митинга Демьян Бедный сказал Александру, что рассказ подкупает сочным языком, яркой изобразительностью и умением автора подсмотреть и подать то, к чему пока еще не подступила, но уже неотвратимо движется жизнь. Да, это было свойственно Александру. Так, во втором номере журнала «Красная нива» за 1927 год печатается его рассказ «Иона Сарычев», в котором с большим мастерством описывается, как водитель трактора, спешивший доставить машину первого выпуска на ярмарку в Спас-Среду, невзначай нарушил в родной деревне молебен с водосвятием, как состоятельный мужик Иона Сарычев в

запальчивости вызвал его состязаться пахать, заявив при всем народе, что «обставит» трактор на своем Карем. Состязание окончилось драматично, но никто из присутствовавших не посочувствовал погубившему лошадь Ионе, каждого пленила неукоснительная мощь трактора. Рассказ прозвучал актуально для той поры — преддверья коллективизации.

В другом рассказе — «Лошадиная эпоха», напечатанном в восьмом номере «Октября» за 1930 год, Александр тоже предвещает назревающее, готовое внедриться в жизнь новое явление — замену гужевого транспорта моторным, что также не обходится без резких столкновений во взаимоотношениях героев произведения.

В журнале «Звено» за апрель — май 1934 года публикуется драматическое повествование Александра «Волга глубокая». И в нем, лишь на основе предвидения и домысла, ему удастся создать реальные картины начинающейся реконструкции великой реки. Современность — основное в творчестве Александра. В 1927 году выходит поэма «Хорошо». В то же время журнал «Красная нива» печатает рассказ Александра «Десятый снег», в котором в унисон поэту-трибуну Александр восславляет созидательный труд советских людей за первое десятилетие социалистического государства.

Кроме указанных выше произведений Александра, на страницах центральных и областных журналов печатались и другие его рассказы и очерки.

В 1929 году он переезжает из Костромы в Иваново по назначению на руководство областной организацией Союза писателей. Его избирают делегатом на первый съезд писателей СССР. На этом съезде устанавливаются дружеские связи Александра с Михаилом Исаковским, Демьяном Бедным, Серафимовичем, Николаем Никандровым, Иваном Касаткиным, Павлом Низовым и другими писателями двадцатых и тридцатых годов. Расширяется его кругозор, не дают «передышки» большие творческие планы. Он уже написал вчерне роман о людях Волги, но обработать рукопись не удалось: в 1936 году его необоснованно репрессировали. Вскоре по состоянию здоровья он был выпущен на свободу.

Впоследствии он так и не оправился от душевного потрясения. Когда началась Отечественная война, Александр просился в военкомате добровольцем на фронт, но ему отказали. Отказали и вторично, в 1942 году. Лишь в следующем году при мобилизации его сына Леоныча, с которым он вместе пришел в военкомат и снова стал проситься на фронт, ему предложили отправиться на оборонные работы. Александр был старшим бригады на рытье окопов и противотанковых рвов в зоне Ногинска: предполагалось летнее наступление немцев. Необходимо было укрепить подмосковные рубежи. Там он и умер в конце

1943 года. Похоронен в братской могиле. Александр посмертно восстановлен в партии и в Союзе писателей. Его деятельность, да и самого как человека можно охарактеризовать словами из его же рассказа «Оттепель», в котором работник-массовик, выходец из низов, самокритично размышляет о себе в сложное мгновение: «А я что?.. Нет у меня даже самого себя: я — ответственный за круговерть борьбы, и сердце мое давно стало барометром «большой погоды». При всех житейских обстоятельствах Александр до конца оставался «ответственным за круговерть борьбы».

Николай Алешин

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ И ДОЛГА

Есть такой нравственный долг у людей фронтового поколения — рассказать о том, что видели, прошли, испытали, что чувствуют сейчас, размышляя о минувшем и будущем, изображая пережитое во всей страшной психологической достоверности, с суровой преданностью фронтовой правде.

Читатель, знающий Владимира Корнилова по книгам «Лесной хозяин», «Мартовские звезды», по роману «Семигорье», возьмет новый роман «Годины» с надеждой на углубленные поиски художника, испытанного лихолетьем. В тревоге за семигорцев, ушедших от пашни, от родного дома защищать Отечество, веришь, что проявятся в них новые, еще не выявленные жизнью гражданские качества.

Перед проводами Алеши Полянина на фронт отец говорит сыну: «Как бы ни было тебе тяжело, помни, что ты не один, не сам по себе. За тобой мы все: дед, мама, Россия». Да, все вместе перед общей бедой. Беда народная, и победа будет народная. И хотя страшный сорок первый, по образному выражению писателя, будто бы наклонил землю («все, что было на земле, что могло двигаться, медленно сползало на восток»), и хотя невозможно было в лавине отступления различить, «где днепровский берег, где вода, и есть ли на всем видимом пространстве отдельные люди», мы начинаем предчувствием угадывать тех, кто первым обретет в себе стойкость и величие духа.

Семигорский обстоятельный человек Макар Разуваев на бугре у деревни Речицы готовится к возмездию. Он, прямой, искренний, не знающий страха, будет стоять за эту деревню, как за свою родную, будет стоять, ведя бой в открытую. Он ощутит, как бьют землю, среди прихлынувших воспоминаний ясно увидит мать, и в какое-то мгновение родное Семигорье сместится сюда, отчетливо увидится здесь, у дороги, тоже на взгорье. И Макар, один, вступит в бой с целой колонной фашистов.

«Он сознавал, что видит землю в последний раз. Оглядел небо, где в вышине, загромождая синь, стояли сомкнутые горы облаков... всмотрелся в дальний лес, отчетливо разделенный облачной тенью; глянул на уходящее по косоугору вниз... белесое ячменное поле и в жалости ко всему, что оставлял на земле, трудно вздохнул и положил ладони на ручки пулемета».

Разуваев на бугре, дивизионный комиссар Степанов, генерал Елизаров и автоматчик Чудков у переправы явят нам грани народного характера. Генерал Елизаров, выслушав, как духовную поддержку, рассуждения Степанова, скажет, что на войне — все, от маршала до солдата, сцеплены живой человеческой связью.

Чувствовать, осмысливать и понимать эту сцепленность предстоит Алеше в труднейших условиях. Принимая к мудрости старшего поколения, вбирая эту мудрость (такова особенность личности народного героя), он за короткий срок пройдет испытания духа и веры. Если для земляка Макара закономерность возмездия как бы сама собой разумеется, то Полянин должен еще пройти через испытания, чтобы, не мучаясь вроде бы самолюбивыми раздумьями о своем положении на войне, обрести навсегда способность противостоять злу. В столкновениях с другими жизненными взглядами (семигорский выродок Леонид Иванович Красношеин, ублюдок Рейтуз, услужники типа Аврова) Алеша осознает, что жизнь — это та же война с невежеством, угодничеством, приспособленчеством, леностью умов, война за справедливость и честность между людьми.

Возвращаясь к жизни после тяжелого ранения, Полянин думает о том, что неизвестно еще, где и как обнаружит себя услужливая подлость Аврова, поэтому всегда будут нужны такие ребята военной поры, которые в любых, самых противоречивых и сложных обстоятельствах способны выстоять, не сорваться, всегда следовать голосу совести.

С высоты нашего теперешнего мирного опыта в чем-то можно и упрекнуть фронтовика Алешу Полянина, если забыть, что этот военфельдшер молод, но нельзя не верить ему, его правде, его пониманию долга и чести. Иногда среди «жестокостей и болей» он

слишком углубленно смотрит на себя в поступках и в отношениях с людьми — так может показаться при чтении романа, — а вот пройдешь до конца изображенные события, учитывая закономерность и случайность, необходимость и возможность, начнешь разумом поверять чувственное восприятие, и поймешь, что необходимо вновь вернуться к тем страницам, которые «зацепили» тебя.

Этот роман не только о войне. Он — о жизни людей, испытываемых суровой необходимостью, о человеке, проходящем через все испытания, чтобы добавить жизни добра. Автор берет в поле зрения фронт и тыл, армию и солдата, власть и поря док, чувство и разум, долг и совесть, добро и зло, ратный и трудовой подвиг.

Эпизоды драматической тыловой жизни, возвращение Алеши Полянина и Макара Разуваева в Семигорье, беседы с носителем народной мудрости Федей-Носом, «взлетное» счастливое настроение Васены Гужавиной и многое другое, выписанное в романе с большой любовью к людям, предвосхищает направленность завершающей части трилогии, над которой продолжает работу писатель.

Люди фронтового поколения ворошат жар «минувшей великой и страшной войны» по праву памяти и долга. Роман уже вышел в свет, а Владимир Корнилов — он сам об этом пишет — не в силах был остановить работу памяти: события, судьбы, думы военных лет, оживленные почти десятилетней работой над романом, продолжали волновать. «Я не мог не вернуться и вернулся к каким-то важным, мне казалось, не рассказанным еще мной, сторонам жизни моих героев».

М. Базанков

(Из рецензии на роман В.Корнилова «Годины», 1985 год).



ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ
(1923 — 2002)

Владимир Григорьевич Корнилов родился в Ленинграде. Среднюю школу окончил в г.Советске Кировской области. Участник Великой Отечественной войны. Выпускник Киевского военно-медицинского училища. В январе 1944 года тяжело ранен. После длительного лечения учился в Литературном институте имени А.М.Горького, окончил его с отличием в 1952 году. Член КПСС с 1943 года. Семь лет возглавлял Куйбышевскую писательскую организацию. Начал печататься в 1954 году, вышла в Куйбышеве повесть «Лесной хозяин», там же — сборник рассказов «Мартовские звезды». С момента создания по 1987 год работал ответственным секретарем Костромской писательской организации. В 1974 году вышел первый роман будущей трилогии. Лауреат Государственной премии РСФСР за роман «Годины». Отмечен правительственными наградами. Жил активным творчеством до кончины.

ПОД МОСКВОЙ
Глава из романа «Годины»

...Высоту взяли утром. Ночью группа автоматчиков, усиленная четырьмя ручными пулеметами, обошла позиции противника, атаковала на рассвете с тыла. Полк не сумел взять. Неполный взвод, действующий по еще не созданному Уставу войны, сбил сильного противника с высоты.

Генерал счел нужным разобрать ход боя. И когда командиры собрались, и разбор был сделан, и высветлена и одобрена полководческая мысль Самохина, генерал сказал:

— А теперь прошу разрешения на притчу. Адресую ее прежде всего себе. Но и каждому из вас, — глазами он выискивал молодого подполковника, того, что восхищался уставным усердием полка, посмотрел пристально. — Так вот. Не знаю в какой, но, несомненно, жаркой стране умирала от жажды обезьяна. Пески кругом! Но пальмы и кокосы на них росли. И обезьяна знала, что своим соком кокос может ее спасти. Вцепилась в пальму, трясет из последних сил. Не падает кокос! «Думать, думать надо...» — говорит себе обезьяна. Ходит, думает. Нашла палку. Дотянулась, сбила кокос. Напилась. Побежала дальше жить.

Человек идет. Тоже от жажды умирает. Увидел на пальме кокосы. Потряс — не падают. Трясет, трясет — не падают! «Думать надо.

Думать...» — говорит человек. Сел. Вдруг вскакивает и кричит: «Зачем думать? Трясти надо!..»

Пока затихал несмелый смешок, генерал молчал. А сказал неожиданно жестко:

— Так вот, командиры. Кто хочет победы — обязан думать!

«Вот-вот, дорогой Иван Григорьевич, — мысленно говорил теперь Степанов, припоминая былую силу генерала. — Даже эта твоя любимая притча оборачивается против тебя. Тянешься к пис-толету. А кто думать будет?!»

Выдержав достаточно долгое молчание, чтобы дать притушить-ся опасно обостренным чувствам, Степанов, вглядываясь в нездо-ровое, до невозможности измененное постоянным перенапряжени-ем воли лицо генерала, проговорил, твердостью голоса обрывая саму возможность сочувствия:

— Так вот, командарм. Не нам с тобой своей смертью помо-гать врагу. Погибнуть мы можем только в бою. Другого ни тебе, ни мне не дано. Нет у нас с тобой права свои жизни у Родины отни-мать. Вот мое слово, Иван Григорьевич. Другого не будет.

Генерал Елизаров не шелохнулся; как сидел, опираясь на рас-кинутые по лавке руки, так и остался в таком отрешенном состоя-нии. Только тяжелые веки на мгновение приоткрыли глаза — в Сте-панова как будто ударил острый, напряженный взгляд.

— Теперь меня послушай, комиссар, — голос генерала был медлителен и недобр. — Днепр, переправу помнишь? Тыщи солдат. Две нитки понтонов. Бомбы, пули с неба. И три-четыре часа време-ни. Чтобы эти тыщи перешли Днепр. Могу сказать теперь: в живых не думал остаться. Солдат переправляю, а время свою черту подво-дит. Вот-вот немец к реке выйдет. И — все. Армию у переправы не развернешь. Когда противник на твоих плечах, как высоко кулаки ни вскидывай — на земле лежать тебе... Было у нас четыре часа времени. Четыре! А к переправе немец вышел через восемнадцать! В девять двадцать пять. Когда мы, в общем-то, готовы, были встре-тить его. Почему враг подарил нам полдня и ночь? Зря у немцев, сам знаешь, ничего не бывает. Что-то, значит, случилось. Знать пси-хологию противника — это иметь две армии вместо одной. Послал людей в Речицу. Выяснилось. Какой-то пулеметчик, без приказа, по своей воле, подчеркиваю, по своей воле, по убеждению, по долгу — выделяй что хочешь, — остался в Речице. Колонну расстрелял в упор. Держал под огнем несколько часов. Свежее немецкое кладби-ще видели разведчики. Сто с лишним крестов. Колонна, что должна была догнать нас на переправе, вышла из Речицы только утром.

Теперь думай. Казалось бы, малое — солдат. А на солдате том держалась судьба армии. И ты, комиссар, не сидел бы сейчас в этой

избе, если бы не другой солдат, подставивший себя под пулю. Тот самый молоденький автоматчик Чудков...

Ты меня пойми. На войне — в жизни то же самое, но на войне особенно — всё сцеплено. Каждое событие, поступок, даже слово одного так или иначе отражается на других, на общих событиях войны. Все мы — от маршала до солдата — сцеплены живой человеческой связью. Долгом, совестью, умом, чувством. Из общей нашей сцепленности душ только и может родиться победа.

Устав нынешней немецкой армии категорически утверждает: «Приказ есть приказ». Жестокостью гитлеры добиваются исполнительности. Им важен действующий солдат. Как часть некоей хорошо продуманной и запущенной на войну машины. В этом они видят главную опору своей военной силы.

У нас — тоже приказ. Но когда я приказываю солдату или командиру, я знаю, что приказываю еще и человеку. Приказ мы накладываем на убежденность солдата. Не знаю, как вел бы себя тот пулеметчик у Речицы, если бы я приковал его к пулемету только жестокостью своего приказа. Для меня он свят одним тем, что сам отдал себе приказ на смерть...

Степанов уловил горькую и — знал он — справедливую мысль генерала. Но сейчас важна была не сама мысль, справедливость ее или несправедливость. Важно было, что генерал высказал свою боль, — мысль высказанная — Степанов это знал по своему опыту — ослабляет свою побуждающую к действию силу.

Генерал Елизаров сменил отрешенную позу, навис крупным телом над своими коленями, стиснул тяжелые кисти рук; Степанов понял, что генерал способен слушать. Встал, пошел к столу, отмечая про себя, как неприятно гулко отдаются в пустоте избы шаги. Приподнял телеграфную ленту, нашел конец; придерживая в пальцах, но глядя на генерала, сказал:

— Читал я в трудах одного умного военного теоретика, что у полководца должно быть равновесие ума и характера. Это для нас с тобой, Иван Григорьевич. Не хочу ни успокаивать, ни раз убеждать тебя. Но в телеграфном разговоре есть требование командующего фронтом доложить шифром план обороны города. Требование это к тебе как командарму. Ответственность, как видишь, с тебя не снята.

Генерал поднимался, не глядя на Степанова; медленными движениями одну за другой застегнул на кителе пуговицы, так же медленно, по-прежнему избегая смотреть на своего комиссара, подошел вплотную к столу.

Степанов, напрягаясь до боли в висках, следил за рукой генерала. Рука легла на пистолет, пальцы привычно охватили тяжелую рукоять. Приподняли без стука. Генерал подержал пистолет в руке,

медленным движением опустил в кобуру. Только теперь, когда Степанов услышал протяжный, царапающий звук вдвигаемого в тугую кожу металла и успокаивающий щелчок застегнутой крышки, он увидел, что длинная телеграфная лента смята в его руке — пальцы держали короткий оторванный ее конец.

2.

На крыльцо они вышли вместе. Дождь, все последние дни осатанело исхлестывающий поля и дороги, перестал где-то, видно, во второй половине ночи: темные доски ступенек были мокры, перильца пообдуло. По своей привычке все замечать и сопоставлять (по изменениям он ощущал движение времени и предугадывал смену явлений) Степанов отметил, что ветер переменялся: в хмурую, еще влажную, ознобливающую погоду ощутимо входил холодок. Отметил он и как будто ничего не выражающий, кроме усердия, зоркий взгляд немолодого часового, вытянувшегося под не просохшей еще плащ-палаткой при появлении генералов. Степанов кивнул солдату. Проходя, еще раз близко взглянул в немигающие, сдержанно-внимательные солдатские глаза; хотел понять — слышал ли? Догадывается ли этот повидавший жизнь солдат о том, что было, что могло произойти в доме, неприкосновенность которого он охранял в ночи? И подумал невесело: «Как часто с усердием мы ограждаем себя от опасности, существующей вовне. И всегда ли должно озабочиваемся опасностью, могущей невидимо подняться из человеческой души?..»

Вместе с генералом они проехали, где не могли проехать — прошли, заткнув под ремни полы шинелей, чавкая и скользя сапогами по земле, словно замасленной долгой непогодью, по унылым в общей осенней распутице позициям передовых частей. Трудное положение армии после прорыва из Вяземского котла Степанов знал, теперь видел воочию. И когда генерал Елизаров, замкнутый, недоступно-сосредоточенный, не сдерживая ни горечи, ни ярости, почти выкрикнул:

— Все видишь, комиссар? Пятьсот штыков на дивизию! И, никаких, по крайней мере мне известных, частей позади! Они, — он ткнул рукой в сторону, где был противник, — мы и — Москва!.. — Степанов понял и горечь и ярость человека, которому должно было остановить до этого дня неостановимое. Как понял и то, что ярость генерала не была яростью бессилия: в горькой этой ярости было что-то от оскорбленного воинского и человеческого достоинства, которому так долго пришлось пребывать в униженности отступления, и эта ярость предела оскорбленности была сейчас по душе

Степанову. Желая укрепить генерала в его полезных сейчас чувствах и пробудить в нем ощущение собственных возможностей, сказал ему в тон:

— Все правильно, Иван Григорьевич! Но ведь и противник уже не тот! Ты сам это почувствовал по последнему бою — в действиях его теперь больше отчаяния, чем силы. Зима вот-вот станет. А победа ему и не светит!..

В доклады командиров дивизий и полков, в разговоры командарма с начальниками воинских служб Степанов не вмешивался. Важны были ему сейчас не цифры количественного состава частей, оставшихся единиц вооружения и не слова, из которых составлялись далеко не бодрые доклады командиров, — все это вбиралось и взвешивалось опытом и умом генерала; для него, для Степанова, важно было уловить другое: ту сцепленность чувств, долга и совести, о которой думал и говорил с ним в тревожной ночи генерал.

Генерал молча выслушивал доклады, коротко приказывал, и по тому, как и что он приказывал, Степанов чувствовал, что для самого генерала рубеж, занимаемый его армией по изгибающейся среди полей и лесов, черной от стлой воды реке, — действительно последний, и по долгу, и по совести.

На пути к ожидавшейся в рощице машине генерал Елизаров остановился на когда-то мощенной булыжником старой дороге, в виду обрушенного деревянного моста, сказал, все еще не умея или не желая выйти из хмурой сосредоточенности ума:

— Вот здесь наиболее и вероятен главный удар. Здесь брод. Другого по фронту армии нет. Сюда стягивает Гудериан и танки...

Степанов, слушая, улавливал в слабевших порывах ветра едлительное многоголосое рокотание на той стороне реки, у леса, клином выходящего в поле. Если это были действительно танки, то бездействие командарма не казалось уместным. Генерал Елизаров, как будто не замечая настороженно-вопросительных глаз комиссара, разглядывал заостренным, перебегающим взглядом фронт реки; похоже, он уже видел то, что будет на этом открытом береговом пространстве, и крупные черты его осунувшегося лица твердели в ожидании того, что совершится здесь, если не в ближайшие часы, то завтра.

Генерал знал, что должен доложить члену Военного совета армии созревшее в уме решение боя; не отрывая взгляда от реки (не ловкость от пережитого ночью в крестьянской избе все еще стояла между ними), он заговорил ненужно напряженным и резким голосом:

— Переброшены и окапываются сейчас вдоль дороги две полковые батареи. Фланги оставлены без орудийного прикрытия. Если

расчет верен, выстоим. Самохина со всеми оставшимися в его дивизии людьми ночью передвигаю сюда. Гранаты, бутылки — всё, что может быть использовано против танков, — сюда. Свой НП тоже ставлю здесь, у дороги. Сдержим танки — будем жить...

Генерал, видимо, сам почувствовал излишнюю резкость своего голоса, сказал уже спокойнее:

— Впрочем, на месте Гудериана я бы на день-два повременил. Танкам нужен маневр. А земля твердеет на глазах. Морозу быть! Но и наши люди твердеют, Арсений Георгиевич. Ты это чувствуешь?! — Неловкость помешала ему повернуться к Степанову, посмотреть с открытостью, как бывало прежде, в глаза, но голос его на последних словах дрогнул — генерал ждал понимания и сочувствия. И Степанов, помогая утвердиться нужному им обоим созвучию быслей и чувств, сказал:

— Как решил, так и делай, Иван Григорьевич. Ответственность, а стало быть судьба, у нас с тобой одна. А настроение людей я чувю. И морозу — быть!..

3.

Генерал оказался прав: противник выжидал.

Солдаты на всех позициях армии углубляли старые, долбили и копали новые траншеи, выносили на бруствер тяжелые, как валуны, комья смерзающейся глины. Солдаты зарывались в низкие прибрежные холмы с таким исступленным упорством, как будто земля, на которой сейчас они стояли, была единственной для них адеждой.

Степанов видел копающих землю солдат и чувствовал, как предстоящим боем уже завязались в один узел его собственная судьба и судьба генерала, судьбы этих, ближайших к нему, и всех других видимых вдали солдат и судьбы командиров, которые еще не вышли и в возбуждении теснились в душной штабной избе. Генерал только что обсуждал с командирами дивизий и полков возможные направления ударов немецких сил по позициям армии. И хотя предположения генерала казались обоснованными и убедительными казались возможные действия полков, Степанов знал, что предвидеть движение еще не начавшегося боя невозможно. Всякий бой — знал теперь Степанов — развивается по своим законам, когда необходимости и случайности едва ли не равны в своем воздействии на общий его исход; и от сознания невозможности знать действительное движение предстоящего боя на рубеже, выбранном не ими, но временем и обстоятельствами войны, — рубеже, последнем для них с генералом, а может быть и для всей армии, — неприятно придавливало сердце. Как всякий человек сильной воли, он предпочел бы не

ждать (неопределенность всегда рождает унижительное чувство тревоги), — он предпочел бы пойти навстречу неизбежному; но начало событий не зависело ни от него, ни от генерала.

Вопреки тревожности, идущей от ожидания, все определеннее завладевала его душевным состоянием вера в возможный достойный исход уже вплотную подступившего к ним сражения. И вера эта укреплялась, и не только тем, что фронт беспокоился оборонительными их возможностями и скупое, но добавил им орудийных стволов и даже два тяжелых танка, — в сложившемся по фронту армии соотношении сил это уже мало что меняло, — вера в возможный достойный исход назревающих событий укреплялась в нем общим настроением людей, в котором Степанов видел последнюю и решающую силу их армии. Вера шла к нему от людей, которые сейчас в солдатских шинелях, томясь ожиданием боя, ходили в захолодавших окопах, с хрустом продавливая ботинками первый настывающий по дну траншеи ледок; от командиров, которые чудом остались в живых после гибельных боев и долгих дорог; от генерала Елизарова, чья душевная боль и оскорбленное достоинство уже перешли в твердость и расчетливость готового принять бой командарма.

Особенно он почувствовал эту общую веру на только что за кончившемся совещании у генерала. Почувствовал и, может быть, впервые за все время пребывания в действующей армии не счел нужным смягчить ни слова в жестоком приказе генерала Елизарова. Не счел нужным смягчить, потому что люди, пронесшие на себе через пол-России скорбь отступлений и утрат, готовы были принять такой приказ. Он только постарался вынужденную жестокость приказа командарма наложить на свою убежденность; он только в свои слова вобрал чувства, которые, он знал, были в сердце каждого из сидящих перед ним в тесной штабной избе. Он сказал:

— Друзья мои, Россия велика. А дорог дальше нет — за нами Москва...

Степанов стоял под старой, обдуженной до последнего листа ветлой, давая остыть беспокойным чувствам, наблюдал, как в таком же заметном возбуждении расходились командиры, на ходу торопливо плотная махорочный дым. (Генерал Елизаров остался верен себе: даже на этом, для многих, наверное, последнем в их жизни совещании он никому не разрешил курить.) Теперь командиры жадно затягивались, озабоченно, в облаках махорочного дыма, прощались, разъезжались в полки и батальоны; и возбужденность их и озабоченность были Степанову по душе. И когда полковник Самохин, человек, чья крупная голова была посажена прямо в широкие плечи, скорее грузный, чем плотный, но энергией, умом и полководческим умением

удивляющий, зажав в кулаке уже раскуренную, прожженную, казалось, насквозь, но почему-то оберегаемую им трубку, задержался около комиссара и, глядя из-под низких, крышечками, бровей назад, вдаль, где в затуманенном тучами пространстве не виделась, но угадывалась памятью и чувствами ОНА, единственная и святая для каждого, кто причастен был к России рождением, судьбой или надеждами, сказал, будто из сердца вырывая слова: «Всё, значит. До края дошагали...», и пошел короткими быстрыми шагами к коню, которого, уже оседланного, придерживал сидящий на рыжей лошади ординарец, — Степанов совершенно укрепился в своей вере.

Отчетливый топот коней какое-то время дробил затвердевающие поля, затих в стороне передовых позиций. Степанов с наслаждением вдыхал знакомый ему по своим северным краям морозной свежести воздух, чувствовал, как медленно стекает куда-то на дно души скопившаяся за месяцы фронта физическая и нравственная усталость, высвобождая, казалось бы, уже весь, до последней капли, израсходованный запас сил. Широкое, видимое здесь от края до края, однообразно-серое небо привлекло его обостренное внимание. Низкая, бегущая над землей, казалось, нескончаемая навись туч, так долго угнетавшая нудной мокредью поля, и дороги, и людей, бредущих этими дорогами, теперь как будто поднялась, просвечивала желтыми и голубыми окнами. Но не сами светлые прорывы — предвестники погодных перемен — привлекли внимание Степанова. Где-то в середине видимого ему неба быстро бегущие тучи вдруг начинали сдерживать свой бег: какие-то, еще не чувствуемые на земле, ветровые потоки шли встреч их движению. И встречные эти потоки были настолько сильны, что порой вздыбливались тяжелые, набегающие облака. Словно натолкнувшись на невидимую твердь, они клонились влево, вправо, опускались, поднимались; их подпирали другие, сдвигали, опять начиналось общее движение. Но копившиеся в высотах неба встречные ветры обретали силу. И снова вздыбливались тучи и зависали, не находя себе пути.

С каким-то незнакомым ему чувством живого соучастия следил Степанов за могучим борением в огромности надземного пространства, — край светлого неба ширился.

К ночи вызвездило. Ударил мороз.

АЛЕКСАНДР ЧАСОВНИКОВ
(1912 — 1979)

Александр Михайлович Часовников родился в Москве. Детство было трудное, скитался по разным городам. После окончания средней школы работал токарем на авиационном заводе, три года занимался в литературном объединении при журнале «Огонек». Был безвинно осужден по клеветническому доносу, наказание отбывал на стройках Карелии и Дальнего Востока. После освобождения в конце 1940 года приехал в Кострому.

Участник Великой Отечественной войны, отмечен наградами. И на фронте писал стихи, печатался в дивизионных и других газетах. В 1945 году принят в члены КПСС. После войны работал в костромских газетах.

В 1961 году принят в Союз писателей. Автор очерков, рассказов, повестей, литературоведческих работ, поэм и многих стихов

ЮРИЙ СМЕРНОВ

Главы из поэмы

Снова фронт. Траншеи. Взрывы тола.
Гарь. Артиллерийская пальба.
Смрад и зной, Горят леса и села.
Танки смяли травы и хлеба.

Грузовик в обочине дымится,
Стонет конь с оторванной ногой.
Белорусский фронт идет к границе.
Скоро Буг желанный, дорогой.

День и ночь вдоль Витебской дороги,
По болотам, по сырым лесам
Новобранцы разминают ноги,
Путь идет к фашистским блиндажам.

К полосе изрытой и колючей,
Где три года рос широкий вал.
За броней и за бетонной кручей
Окопался Траут-генерал.

Траут бронирует оборону —
Всюду мины, надолбы, «ежи».
Нелегко гвардейским батальонам
Пробивать такие рубежи...

— Друг, Смирнов! Смотрите, объявился!
— Здравствуй, Юрка! Молодец, орел!
Зеленюк при встрече подивился:
— Добре, хлопец! Рад, что ты пришел.

Значит, вместе, Юра, до победы!
Ты теперь обстрелянный солдат.
Скоро будем провожать «соседа»
С огоньком и с музыкой назад.

Видно, штаб готовит наступленье,
По полкам солдаты говорят..
Что ж, шагай в родное отделение,
Каску получи и автомат.

Встал солдат в переднюю колонну.
Встал в шеренгу ротных запевал,
Впереди, за лучшим отделенным.
Каждый понял — этот воевал.

12

Готовится полк к наступлению.
К комсоргу Смирнов подошел:
— Возьмите мое заявление,
Решил я вступить в комсомол.

В лесу, на просторной поляне,
Собрал комсомольцев Шмырев,
Играет сержант на баяне,
Подняв молодецкую бровь.

О том, как встречали трипольцы
Двадцатого года весну..
«Уходили комсомольцы
На гражданскую войну».

Сегодня не будет доклада,
Десантникам времени нет.
На ящике из-под снарядов
Лежит комсомольский билет.

— Товарищи, времени мало, —
Гвардейцам комсорг говорит,
— Проверка огнем и металлом
Нам ночью опять предстоит.

Мы ночью в поход выступаем,
И встретим в атаке рассвет.
И мы перед штурмом вручаем
Бойцу комсомольский билет.

Мы знаем отвагу Смирнова,
Он твердо стоял под огнем.
Дадим ему краткое слово
И сразу по взводам пойдем.

И Юрий, билет принимая,
Сказал комсомольцам-друзьям:
— Надежна семья фронтовая, —
И радость, и боль пополам.

Я счастлив сегодня, ребята.
Я дружбой гвардейской согрет.
Клянусь вам в сражениях свято
Нести комсомольский билет!

13

Две ракеты красные сверкнули.
Распорол прожектор глубину.
Режут мрак оранжевые пули,
Бороздят осколки целину.

В танк вросли десантники-солдаты.
Пыль летит на каски, на броню.
Ветер хмелем обдает и мятой,
Все приметы к солнечному дню.

Вдруг Смирнов упал на повороте,
Застонал — и снова тишина.
Вспомнил Юрий — утром в первой роте
Говорил с бойцами старшина:

— Смелость — не заигрыванье с пулей,
А одна из боевых наук...
А потом про сивую зозулю
Пел в землянке тихо Зелонюк...

Вспышка. Рокот. Яркий синий пламень.
Танк исчез... И вот Смирнов один...
Кровь струится... «Снова ранен...
Вот тебе дорога на Берлин...

Наступленье пролежать в санбате...
А потом врачи отправят в тыл,
Кашку есть, разгуливать в халате, ...
Что ж, выходит, крышка, отслужил?»

Темнота на фронте поредела.
Подползают немцы... «Ну, стой!»
Кровь течёт... Плечо окаменело...
Автомат лежит не под рукой...

Навалились, заломили руки.
Крикнул по-мальчишески: «Пусти!»
Грудь сдавили черные гадюки,
Он один. Их больше десяти...

«В плен берут из-за случайной пули,
Может быть, удастся убежать...»
Подхватили на руки, втокнули
В темноту штабного блиндажа.

14

Свет зажег услужливый ефрейтор.
Траут сам допрашивать пришел.
— Парень русский выдаст все секреты,
Положите карту мне на стол.

Подойдите, юноша, поближе, —
Генерал фашистский говорит, —
— В вашем сердце мужество я вижу,
Но у вас больной, усталый вид.

Отдохните. Успокойте нервы.
Выпейте хорошего вина.
Вы давно не кушали, наверно!?
Ах, какая страшная война.

«Что таится в добродушном тоне?»
— Мама с папой вас, наверно, ждут...
Вы в каком служили батальоне?
Где стоит он — здесь вот или тут?

Генерал по карте пальцем водит,
От солдата откровений ждет.
А Смирнов в далекий мир уходит,
В тот неповторимый детский год.

Унжа промелькнула. Лес. Поляна.
Солнце над Макарьевом горит.
Полночь. Про Сусанина Ивана
Бабушка тихонько говорит:
«... чует та нечисть треклятая:
Далеко их завел мужик русский в лес...»

— Что молчите? Сколько было танков?
Покажите, где они прошли?
Номер части? Где ее стоянка?
Вы б награду заслужить могли!

Юрий вспомнил, и утихла рана.
Он орленком над землей парит.
Слышит, про Сусанина Ивана
Бабушка протяжно говорит:

«— Говори, старой! Говори, седой!
Ты зачем завел в эти дебри нас? —
Но молчит Иван, усмехается...
А в глазах горят гнев и ненависть».

— Сколько танков?
Юноша спокоен,
И уста железные молчат.
— Ишь ты, хладнокровие какое!
О, да это не простой солдат!..

Детство показалось, как с экрана.
На горе сосновый бор шумит...
Снова про Сусанина Ивана
Бабушка тревожно говорит:
«— Говори, старой! Говори, седой!
А то смерть тебе! —
А он все молчит».
Не дождался генерал ответа,
Пнул со зла ногою в табурет.
Адъютант подносит документы,
С силуэтом Ленина билет.

Генерал взглянул, сказал:
— Пытайте!
Режьте, жгите, он заговорит.
Сколько танков прорвалось, узнайте!
Перед пыткой он не устоит.
Все расскажет, человек — не камень... —
Бросились на жертву палачи...
Показалось, рядом встал Сусанин
И сказал:
— Молчи, земляк, молчи! —
В тело штык вонзился. «Нет не страшно.
Я не дрогну. Пусть свершится казнь».
— Сколько танков в рейд пошло вчерашний?
Кто повел их? Что гласил приказ?
Сколько танков? По какой дороге?
Номер части? Кто их в бой повел?..
Он молчал. Ни стопа, ни тревоги.
Он вступил навечно в комсомол.

Вечно будет гордый подвиг славен.
Он и мертвый с нами, как живой,
Патриот такой же, как Сусанин,
Богатырь не телом, а душой.

Бывало десанникам туго...
 В тот день на крутом рубеже
 Нашли мы пропавшего друга
 В фашистском штабном блиндаже.

Он был к крестовине из теса
 Большими гвоздями прибит.
 Прочли в протоколе допроса:
 «Ер швейгт!», а по-русски — «Молчит!»

На подвиг друзей призывая,
 Вливая в них мужества свет,
 Лежал, орденами сверкая,
 Его комсомольский билет.

Под Витебском был похоронен
 Советской России герой,
 Враги не ушли от погони,
 От мести солдатской святой,

Нас образ бойца молодого
 В атаках не раз вдохновлял,
 Примером стал подвиг Смирнова,
 Весь фронт его имя узнал.

В движеньи стремительном, смелом,
 В кварталах чужих городов
 Встречали мы надписи мелом:
 «Здесь был комсомолец Смирнов!»

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Подойдя к простреленному флагу,
 Слушая внимательно приказ,
 Воин, принимающий присягу,
 Вспомни этот фронтовой рассказ.

Пусть не наизусть, не слово в слово,
 И перед собой увидишь ты
 Комсомольца Юрия Смирнова
 Неиспелимые черты.

Знаю, юность, ты всегда готова
Заслонить Отечество собой.
Светлый образ Юрия Смирнова
Пусть всегда стоит перед тобой.

С ним смелей стоять на страже мира
Часовым свободного труда.
С ним приказ народа-командира
Безупречно выполнишь всегда.

Подойди к простреленному флагу,
Поклянись, как Юрий, в трудный час
Выполнить военную присягу,
Родины решительный приказ!



ЕВГЕНИЙ СТАРШИНОВ
(1915-1977)

Евгений Федорович Старшинов родился в Ярославской области.

В девятнадцать лет начал работать учителем. Он сам писал о своих «университетах»: ШКМ, педтехникум, заочное отделение Литературного института СП, военное училище, вечерний университет марксизма-ленинизма, курсы редакторов книжных издательств. Работал после войны учителем, директором школы рабочей молодежи, литературным сотрудником областной газеты «Северная правда», редактировал «Блокнот агитатора», книги в издательстве...

Прошел войну от Курска до Праги после пулеметно-минометного училища. И все командиром. Был ранен, контужен. Вступил в партию в 1944 году. Награжден орденами и медалями. Член Союза писателей. Автор повестей, романа «Левый фланг», поэтических сборников «Жизнецвет», «Поречье», «Если любишь», «Музы на Мезе» и др.

Умер в возрасте 62 лет.

ПРОРЫВ

Глава из романа «Левый фланг»

12 января 1945 года ровно в 5.00 в предутренней мгле над Сандомирским плацдармом, на сорокакилометровом участке фронта поднялся огненный смерч.

Если бы композитор задался целью запечатлеть это утро в симфонии, он начал бы с тихого беспечного кружения снежинок над траншеями, с тех нестройных и приглушенных звуков, какие возникли задолго до наступления: со звуков разматываемых связистами катушек, стука колес, фыркания лошадей, урчания автомашин. Потом, где-то перед рассветом, к ним прибавились новые: гул артиллерийских тягачей, нечаянное звяканье котелка о ствол автомата или саперной лопаты о минометный ствол, скрип снега под ногами, тихая перебранка, перемолвка, беззлобный хохоток. Это подтягивались к переднему краю танки, самоходные пушки, бронетранспортеры, батальоны и полки стрелков с подразделениями автоматчиков, пэтэровцев, минометчиков, чтобы в нужную минуту хлынуть в проран через рубеж, как вода через шлюзы, и ринуться вперед, на запад.

Правда, в эту ночь на переднем крае делалось и многое другое. Например, саперы ползали со своими ножницами и резали колючую проволоку, делая проходы для пехоты и танков и снимаемая противотанковые «лепехи» и противопехотные натяжные мины как на своей полосе, так и на вражеской. Но это делалось без шума, без единого звука, так что отразить это в симфонии едва ли можно. Так же без звука тут и там сгружались и укладывались в штабеля ящики снарядов и мин, устанавливались на заранее оборудованных огневых позициях орудия, артиллерийские установки, минометы.

Но и те немногие звуки, какие были слышны, в последние минуты перед началом артподготовки смолкли. Все словно замерли в ожидании.

Молчит и противник. А вдруг он вывел свои основные силы с переднего края? Что тогда? Неужели эта артиллерийская молотьба будет грохотом палок в барабан? Нет, этого не может быть!

И вот — началось! Началось не то с шипенья раскаленной лавы, не то с клокотания. Если бы гигантские чаны холодной воды были разом выплеснуты на раскаленные добела огромные стальные плиты, то и тогда, наверное, не было бы такого страшного шипения, как тут. Это гвардейские «катюши», сбросив брезент, вдруг окутались клубами дыма и метнули в небо первые огненные клинки своих реактивных снарядов.

В этом месте композитор, вероятно, встретился бы с большим затруднением, поскольку еще нет таких музыкальных инструментов, чтобы исторгнутый ими звук хотя бы отдаленно мог напомнить это шипение и клокотание и чтобы слушатель этой симфонии испытал хотя бы сотую долю того высокого душевного взлета, той тревоги и радости, того восторга и ликования, какое испытывает сам артиллерист и минометчик, какое испытывает пехотинец, с улыбкой задравший голову и провожающий глазами эту летящую прорву огня, и поправляющий свой заплечный мешок, готовясь к далекому маршу. Чтобы он, слушатель, проникся той отвагой и сводящей челюсти буйной удалью: — Знай, гад, наших! Это тебе не сорок первый год! — когда эта адава сила с гулом и грохотом обрушивается на траншеи и окопы врага, на его командные и наблюдательные пункты, на доты и дзоты, на огневые позиции артиллеристов и минометчиков, и все это рушит, ломает, рвет, выворачивает с корнем, и разбрасывает, разметывает во все стороны.

А вслед за этим первым залпом и справа, и слева, и близко, и далеко, и за самой спиной, и с каждого бугорка и пригорка, и из-за каждого куста и невидимого укрытия загавкали, зарычали, загрохо-

тали тысячи орудий всех калибров и систем. Какой сводный оркестр способен поднять такую гамму звуков? Какой дирижер сможет с такой же: точностью и с таким умением управлять им?

Все потонуло в гуле и грохоте. Здесь можно было действовать только автоматически, только по часам и мину там, по тому графику, какой был составлен заранее, по тому количеству снарядов, которое надо выпустить в цель по карте ли, по пристрелянным ли ориентирам, чтобы все, что есть впереди, за линией своих траншей, смять, подавить, смести с лица земли.

Изо всех тех, кто ведет огонь, «самоварники» — впереди. Сзади их — дым и огонь. Впереди — огонь и дым. А между двух огней — они. И почти рядом — пехота. Но пехотинцы — те пока только наблюдают. А у минометчиков — самая работа, самый разгар молотбы, самый ад. Только мелькают мины, выпархивая из раскаленных жерл. Жар идет от стволов. Плюнь — и плевков мгновенно превратится в пар.

— Лети, мина в цель, не мимо! Гони гадов до Берли на!..

Сколько времени длился этот ураган? Полчаса? Час? Больше?

Но вот звуки боя стали постепенно стихать. Огненный вал покатился вглубь вражеской обороны, а вскоре и со всем прекратилась пальба.

Зато начали оживать другие звуки. И пронзительный крик «вперед!», и гул моторов, и чей-то свисток, и песня, и ругань, и сумасшедший вопль: «Васька, мать твою перемать! Якого ты биса цацкаешься тут! Наши вже мабуть самого Гитлера у плен беруть!..»

А вот и первые пленные. С обезумевшими от страха глазами и высоко поднятыми руками они прошли гуськом, без пилоток, все в песке и глине, осыпаемые сверху мягкими снежинками.

Штурмовые батальоны, взломав оборону, уже миновали проволочные заграждения и первую линию траншей. Противник оказался полностью деморализован. Но кое-где в глубине еще остались не подавленные очаги сопротивления. То тут, то там загремели выстрелы, стали свистеть пули и рваться снаряды. И это было предусмотрено командованием. Пусть противник примет паузу за полное прекращение артогня, пусть впадет в заблуждение, пусть демаскирует и выдаст себя с головой.

И вот новая лавина огня еще более страшной силы обрушилась на противника и покатилась вглубь, чтобы перемолоть и то, что еще не перемолото, и что по какому-либо случаю оказалось в зоне двадцати километров от переднего края и чтобы потом, после войны, один из уцелевших каким-то чудом немецких генералов, бывший свидетелем этого артиллерийского шквала, Курт Типпельскирх мог констатировать: «Удар был столь сильным, что опроки-

нул не только дивизии переднего эшелона, но и довольно крупные подвижные резервы, подтянутые по категорическому приказу Гитлера совсем близко к фронту».

Впрочем, не обошлось без потерь и с нашей стороны. В том числе и в первой минометной роте. А первым выбыл из строя сам командир роты, гвардии лейтенант Гирман, тот самый, который хотел воевать по-новому, не так, как воевали гвардейцы, когда гнали врага с родной земли. Не сбылись мечты. Не оправдались благие надежды.

Надо же было так случиться, что едва он, после артподготовки, путаясь в плащ-палатке, вылез из окопа, как не то снайперская пуля, не то случайный осколок снаряда задел ему мочку уха. Была ли это легкая царапина или действительно сквозное ранение в нижнюю часть уха, ни кто толком не знал, даже Серебряков, забинтовавший ему голову индивидуальным пакетом. Но Гирман сразу побледнел и осунулся.

Когда минометчики, отстрелявшись и оглохши от стрельбы, долго прождав, но так и не дождавшись его распоряжения, потому что связь была порвана проходившими танками, на свой страх и риск снялись с места, чтобы устремиться за пехотой, Гирман, видимо, пришел в себя я понуро шел навстречу им в сопровождении Серебрякова.

— Что случилось? — спросил его Богомолов.

— Я ранен, — страдальчески выдохнул он, кладя руку ему на плечо и глядя на носки сапог. — Ты тут уж того... Действуй... Буссоль у связистов... Я, пожалуй, к вам не вернусь... Сам понимаешь... Только разреши Серебрякову проводить меня до медсанбата... Со всем ослаб...

— Разумеется, пожалуйста, — кивнул Богомолов и, пожав ему руку, ускорил шаг, догоняя ротную колонну.

Почти одновременно с ним выбыл из строя и сержант, которого Гирман заставил носить буссоль и, видимо, прочил в наблюдатели-корректировщики. Что с ним произошло, сначала не могли понять. Встретил связиста, искавшего конец оборванного провода, начал плести околесицу, что, якобы, он был в плену у немцев, и командир роты в плену, что их пытали, что он чудом вырвался и убежал... Связист подумал: пьян. Послал к санитарам. Те высказали другое предположение: помутился рассудок от душевного потрясения. Направили в санбат...

И, наконец, особенно досадно — сержант Белов, соловей-разбойник, подорвался на mine. Оторвало ногу. Не споет теперь свою любимую песню про середняка Ивана Егорова, про его колебания во время коллективизации. Не подыграет ему минрота своими го-

лосами, своей припевкой «та-ри-ри-оп-три-та! Та-ри-ри-оп-три-та!» А кто виноват? Сам прежде всего. Но и Богомоллов, конечно, от части. Между прочим, удивительно, как сам он, Богомоллов уцелел. Ведь был, что называется, на волоске...

Когда они, с большим запозданием снявшись с огневой позиции и оставив Гирмана, влились в поток второго эшелона пехоты, танков, повозок, автомашин и прошли через узкий проход в полосе обороны, Богомоллов, чтобы сократить расстояние и опасаясь попасть под огонь противника вместе со всей колонной, решил рассредоточить роту и идти напрямую, через распаханый снарядами бугор. Авось так скорее удастся наверстать упущенное время и догнать свой штурмовой гвардейский батальон. Сам он, ускорив шаг, оторвался от роты метров на сто, сто пятьдесят, как это делал обычно Балягеев. Шел и радовался, что они пока в безопасности, что по ним никто не стреляет. Вдруг — ух! Где-то совсем рядом. Не то справа, не то слева. Что это? Снаряд? Тогда почему он не слышал звука полета?

Не успев сразу понять это, он инстинктивно бросился вперед, но зацепил за что-то ногой и тут же упал и услышал сзади второй и третий такой же резкий звук разрыва. Только теперь его осенило: минное поле. Он попал на заминированный участок. Так и есть. Мелкие кустики. Мины натяжного действия. Тонкий волосок провода. Вот он, — он глянул прямо перед собой и увидел тонкий, как струну балалайки, провод. Да, теперь все ясно. Теперь его не проведешь. Теперь он «сам с усам». Дудки!

Он встал и, подняв полы шинели, стал осторожно, на цыпочках, зорко приглядываясь, продвигаться дальше. Это было похоже на замысловатый танец.

Благополучно миновав это опасное место, Богомоллов огляделся и, сняв шапку, помахал, указывая роте путь обхода заминированного участка. И сам тоже повернул в ту сторону, выходя на кем-то проложенный до него след, с которого он, не подумав, сошел и за это чуть не поплатился жизнью.

Теперь он был осторожен, и, даже выйдя на след, не переставал зорко всматриваться в каждый кустик, в каждый предмет.

След этот вилял, шел зигзагами, видимо, прокладывал его опытный солдат, обходя каверзные места. Невольно хотелось то тут, то там срезать угол, сократить расстояние, тем более, что батальон успел уйти далековато. Но теперь Богомоллов не поддавался на такой соблазн. След шел вправо — и он поворачивал вправо. След влево — и он туда. По пословице: «Обожжешься на молоке, дуешь на воду». Сейчас главное — осторожность. Уберечься от мин натяжного действия. Уберечься самому и уберечь других.

Но сержанта Белова, лучшего наводчика и запевалу, уберечь не удалось. Он шел со стволом на плече во главе второго взвода и не захотел делать крюк перед второй линией немецких траншей, понадеялся, что тут безопасно, решил срезать угол. Но едва успел сделать несколько шагов в стороне от проторенного следа, как — взрыв, вскрик, и вот он уже корчится на снегу. Вот тебе и — «середняк Иван Егоров», вот тебе и «захотелось старику переплыть Москву-реку...» Вот что значит излишняя самонадеянность... Кому-то надо отнести его в санроту. Кому-то придется нести его ствол... И в то же время надо поспешать, поторапливаться. Впереди — встреча с неприятелем. Застрочат автоматы и пулеметы. Пехота заляжет. Потребуется поддержать ее минометным огнем. Посмотрит комбат, капитан Гильманов, кругом: где она там запропастилась, его первая минрота? Почему отстала?... Знает ли он о том, что Гирман в это самое время движется в противоположном направлении?

...Как быстро летит время в наступлении. Давно ли они, находясь между двух ревущих и бушующих огней, сами вели огонь? Давно ли тревожились и ждали распоряжения? И зря ждали. И не дождались... Давно ли, понуро опустив голову, Гирман, положив руку Богомолу на плечо, как бы взвалил на него двойную тяжесть: — «Того... действуй... Я, пожалуй, не вернусь...» Отвоевался. Давно ли сам он, Богомол, как волк, попавший в облаву, метался по снегу... Давно ли выбыл из строя Белов?.. Странно все это получилось. Он, Богомол, подорвал три мины — и остался «в целости и сохранности». А Белов — одну, и та оказалась роковой...

А вот уже и темень наплывает. И справа, и слева движутся войска вперед, на запад!



ЕВГЕНИЙ ОСЕТРОВ
(1923 -1983)

Евгений Иванович Осетров родился в Костроме.

Литературную работу начал еще до войны. В сентябре 1941 года призван в Советскую Армию, воевал на Западном и Центральном фронтах. Тяжело ранен. В 1944 г. демобилизован в звании капитана. Имел правительственные награды.

Окончил Литературный институт имени А.М.Горького в 1953 году и Академию общественных наук при ЦК КПСС в 1968 году. После войны работал в «Северной правде», затем — во владимирской областной газете. Был членом редколлегии нескольких центральных изданий, заместителем главного редактора журнала «Вопросы литературы». Возглавлял клуб библиофилов при Центральном доме литераторов. Член Союза писателей с 1964 года. Критик, прозаик, публицист. Автор многих книг. Заслуженный работник культуры. Умер в Москве 20 июля 1983 года.

«А НУЖНА, БОЛЬНА МНЕ РОДИНА...»

Из книги «Голоса поэтов»

Самые разные читатели («Какая смесь одежд и лиц!..») обращается к «Теркину» как к неиссякаемому источнику духовного здоровья.

Бывалый солдат, помнящий смоленские болота и переправу через Днепр — где-нибудь под местечком Радуль, — достав с полки заветную книгу, вспоминает, как читал в молодые годы во фронтовой «Красноармейской правде» незабываемые главы Александра Твардовского.

Пытливый подросток, желающий узнать все, как было на передовой, особенно восхищается живописанием батальных сцен и боевых эпизодов, подробностями, которые невозможно придумать: «Чтобы слева класть удары, хорошо б левшою быть».

Молодые постигают по «Теркину» непринужденную и естественную красоту разговорной речи и ее плавный лад: «Я — любитель жизни мирной — на войне пою войну».

Начинающий поэт, повторяя вслух строфы поэмы, учится, как свободно и веско можно писать о важном:

Есть закон — служить до срока,
Служба — труд, солдат — не гость.
Есть отбой — уснул глубоко,
Есть подъем — вскочил, как гвоздь.
Есть война — солдат воюет,
Лют противник — сам люет.
Есть сигнал: вперед!.. — Вперед.
Есть приказ: умри!.. — Умрет.

Теркин смело соперничает по известности с самыми прославленными книгами, зачитываемыми в библиотеках до дыр.

Иван Бунин, прочитав «Теркина», написал издалека в родную Москву давнему собрату по перу Николаю Телешову: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова».

...Возникновению гётевского «Фауста», как известно, предшествовало бытование немецких народных книжек, посвященных легенде о докторе-чернокнижнике, вступившем в сговор с нечистой силой, продавшем душу черту. Лубочные народные образы (король Елисей, Золотой Петушок, царь Салтан) красочно отозвались в сказках, стихах и поэмах Пушкина.

Теркин — солдатская фронтовая молва. Ее-то и запечатлел Твардовский в главах-эпизодах, печатавшихся во фронтовых газетных листках фельетонами. Тогда читатель любил кочующих литературных героев-удальцов. Отсюда бесчисленные Фома Смыслов, Гранаткин, Штыков — им несть числа. Мелькали даже в газете рассказы о новых похождениях Швейка, и над ними смеялись от души, ибо смех — необходимая часть быта, в том числе окопно-траншейного и походного. Неунывающие победители нравились, но в памяти надолго не удерживались. Строфы же в «Теркине» поныне звучат так, словно они только что вышли из-под пера, нет, сорвались с уст:

Мне не надо, братцы, ордена,
Мне слава не нужна,
А нужна, больна мне Родина,
Родная сторона!

Существует вечная тайна художественности, которую по-своему разгадывает каждое новое поколение.

Год от года все больше люблю, постоянно читаю и перечитываю «Я убит подо Ржевом».

Суровые беды и испытания наложили неизгладимую печать на творческий облик Александра Твардовского. И, может быть, самое заветное, сокровенное, что было выношено за военную страду автором «Теркина», вылилось в стихотворении «Я убит подо Ржевом». Произведение это, одно из лучших в русской поэзии XX столетия, заключающее в себе излюбленную мысль поэта, скорбные и мужественные мелодии, избилующие внезапными смысловыми переходами, могло бы послужить композитору программой для симфонической поэмы.

Поэт написал стихотворение-балладу — своеобразный монолог тех, кто не пришел с войны. Герой, выглядит ныне «живее всех живых». Недаром он произносит слова, обнаруживающие гранитную силу духа. С самого начала смысловая мелодия — декламативно-говорная — становится убедительной. Автор передает подлинность войны лексикой, бытовавшей среди фронтовиков, — «В пятой роте, на левом...», «Ни петлички, ни лычки...», «Как на теле рубец...». Обыденное звучание речи сразу снимает опасность, заключающуюся в том, что «голос из-под земли» мог бы восприниматься как «высокий штиль», некая торжественная риторика.

Обращение погибшего к нам наполнено жгучим интересом к солнечной, зеленой, бурлящей жизни, и условность литературного приема мгновенно, особенно при чтении вслух, сглаживается, отступает, исчезает, ее просто-напросто не замечаешь. Читатель осваивает, опираясь на личный опыт, многозначный смысл простых слов: «Я — где корни слепые ищут корма во тьме; я — где с облачком пыли ходит рожь на холме; я — где крик петушинный на заре по росе...»

В сдержанных оборотах речи заключено жизнелюбие.

Трепетный интерес к ратным делам обоснован поэтом. Вопросы ушедшего навсегда солдата о положении на Среднем Дону и на Волге подводят читателя к мысли, объясняющей, почему погибшие расстались с прекрасным и яростным миром. Мысль проста, но она предельно кратко и точно указывает на причину, заставившую пожертвовать самым дорогим на свете — жизнью:

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она — спасена.

Сила тревожного чувства так превышает привычную степень воздействия, производимого на нас стихами, что нет никакой нужды и желания обращать внимание на подчеркнуто обыкновенную звуковую сторону произведения. Интонация живет в окружении текста и подтекста; она окружена поэтическим ореолом, воздухом. Все дело в смысле, в богатстве постижения.

Мысль о погибших товарищах никогда не покидала поэта. В этом достаточно убедиться, сопоставив довоенные стихи Твардовского с тем, что поэт стал писать в дни ратных дел. Начиная с тяжелой финской кампании, когда наши войска, тягостно неся страшные потери, взламывали «линию Маннергейма», систему долговременных укреплений на Карельском перешейке, юношеское восприятие жизни покинуло поэта.

В последних стихах Твардовского встречается признание: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они — кто старше, кто моложе — остались там...» Поэт судит себя судом памяти, не находит вины, но недосказанное пробивается меж строк: «Речь не о том, но все же, все же, все же...»

Живой думает о живом, и одно изображение скорбного едва ли все-таки может составить в наши дни все содержание творчества художника. Александр Твардовский стремился показывать жизнь в цвету. Критика много писала о послевоенных поэмах Твардовского «Дом у дороги», «За далью — даль», воздав наконец этим прекрасным творениям по заслугам. Эти эпические полотна, особенно «За далью — даль», дают нам возможность увидеть, как видоизменялся от одного произведения к другому мир художника, рос его духовный горизонт. Не деревенская околица, привлекательная сама по себе, а вся страна и ее эпохальное движение осмысливаются поэтом.

ВЛАДИМИР КОНДРАШОВ
(1914 -1985)

Владимир Николаевич Кондрашов родился в деревне Кузнечиха Ярославской губернии, окончил училище при автозаводе. По комсомольской путевке поехал на стройки Дальнего Востока. В 1939 году окончил Ярославский педагогический институт. Участник Великой Отечественной войны. Был в плену больше года, перенес тяжелые испытания, пытки, издевательства, холод и голод. После войны учительствовал в школах Владивостока. С 1952 работал в Костроме в областном институте усовершенствования учителей. Автор нескольких учебных пособий по литературе и русскому языку. В 1961 году опубликовал документальную повесть «Человек №21001», затем в издательстве «Просвещение» вышла книга очерков об учителях. Заслуженный учитель школы РСФСР. Член Союза журналистов СССР. Имел правительственные награды.

ЧЕЛОВЕК №21001
Отрывок из повести

Все случилось внезапно. В тот миг, когда Василий Соловьев падал, чтобы удобней было стрелять, он скорее почувствовал, чем увидел: катится под него черный шарик и шипит. Василий метнулся в сторону. В голове молнией: «Все, смерть!» Резкой болью рвануло в бок, в грудь, в лицо, отбросило. Перед глазами побежали круги, волнами, красные, зеленые, фиолетовые... один за другим, один за другим, шире, шире и — потерялись. Тьма... «Вот и все... Смерть...»

Кто-то резко рванул за левую руку, поволок по земле. Кто? Куда? Зачем? Свой или враг? Вот остановился, лег рядом бок о бок.

— Кто ты? — спрашивает Василий.

— Да ты что, Васька, не узнаешь? Голос Вани Деревякина.

— Я не вижу, — шепчет Василий. — Глаза опалило, глаза... И в грудь... Брось. Один пробивайся, окружили!.. Куда ты со мной...

— Молчи, дурень.

И снова Василий чувствует, как Деревякин тащит его через кусты, куда-то вниз по оврагу. Вот упал, шепчет:

— Сейчас я устрою, лежи. Тут окопчик. Но он маленький, на двоих не хватит. Я подрюю.

И вот они лежат: длинный, неуклюжий Деревякин и скорчившийся от боли, ослепленный Соловьев. А в кустах, около Дона, автотоматная трескотня и все чаще крик немцев:

— Камрад, апштейн! Камрад, апштейн!

— Что они кричат? — спрашивает Деревякин шепотом.

— Камрад — это вроде как бы товарищ, а другое слово — приказание встать. Ваня, друг!.. — Василий заговорил порывисто, то-ропясь. — Поищи оружие, мою винтовку там... вышибло.

— И мою тоже... бомбой. Пока сухари таскал на повозку...

— Ох, хоть бы гранату... себя бы и их, а? Подойдут... Скорее, Ваня! Слышишь, идут. Не хочу в плен. Нельзя... Это же... — и руки Василия судорожно шарят по брустверу окопа, словно оружие вот оно, тут, рядом.

Не успел Деревякин отползти от окопа и нескольких метров, как Василий услышал резкий окрик немца: «Хенде хох!», затем приглушенный возглас и хрип Деревякина.

Василий попытался приподнять пальцем распухшее веко левого глаза и на миг увидел дуло немецкого автомата, направленное на него, и руки врага, красные, грубые... Соловьев вздрогнул, инстинктивно наклонил голову и броском метнулся из окопа. «Схватить немца за ноги — упадет». Но бросок не получился. Фашист одной рукой рванул Василия на себя и поставил на ноги.

И вот они оба, старший сержант Василий Соловьев и его друг, киномеханик Деревякин, стоят перед теми, с кем сегодня сражались. Каски сорваны и брошены в кусты чужими руками, чужие руки, руки врага, обшаривают гимнастерку, брюки. Отобран бинокль, перочинный нож тоже.

— Лос, ком, ком! — лаяли фашистские солдаты, толкая Василия и Деревякина прикладами в спину.

Василий, преодолевая боль, шел, шатаясь. Поддерживая веко рукой, он мигал левым глазом. Правый совсем нельзя было открыть — больно. По телу, сочась, стекала кровь. Серый вечерний полумрак повис над растревоженной землей. Вот и столб, раздробленный снарядом. Вот окоп справа... черная земля... На бруствере, лицом к Дону, раскинув руки, лежит советский боец, в трех шагах от него, но головой к востоку, скорчившись, ткнулся в землю немецкий солдат. «Ни наших, ни своих зарыть не успели», — подумал Василий. А вокруг — воронки от снарядов, бомб.

Трупы стали попадаться все чаще: здесь кипел жаркий бой. Пленных гнали теперь по полю, где вчера, стоял советский резервный батальон. Все поле в окопах, везде шевелятся грязно-серые фигуры: уже не наши солдаты — немецкие. Значит, гитлеровцы закрепляют позиции на левом берегу реки.

Их повели к пригорку, где стояло еще человек пятнадцать таких же, как и они, пленных. Подошел немец в сапогах. Солдаты

были в ботинках. Поэтому Василий подумал: «Должно быть, офицер». Немец спросил:

— Кто понимает немецкий язык?

— Я, я немного понимаю, — заискивающе проговорил один из пленных. И навстречу немецкому офицеру шагнул низкорослый человек с выпуклым лбом и короткими руками. Василий узнал в нем солдата хоззвода Якова Лыснова, которого бойцы в полку называли Яшкой Лысым.

— Берите вон у того бугра лопаты, будете рыть окопы, а где — укажу, — приказал офицер.

Пленные угрюмо молчали, нерешительно переминались. Офицер пошел к лопатам, за ним засеменил Яков, поплелись и остальные. Деревякин потоптался на месте, побрел тоже. Василий остался. Подскочил немец, тот, что был в сапогах, высокий, тонкий, закричал:

— Арбейтен!

— Я не могу, я ранен, — пытался объяснить Василий.

— А, швайн, доннер веттер, — зарычал немец и пнул Василия в бок сапогом.

Соловьев шагнул к товарищам, тоже взял лопату. Были бы силы — стукнул бы лопатой по тонкой шее немца. Но сил не было.

— Ты ковыряйся кое-как, ковыряйся, — шептал Деревякин. — А то пристрелит тот, тонконогий. Это немецкий унтер, я видел одного такого: позавчера наши в плен взяли.

Но Василий не мог даже ковыряться: болел бок, не видели глаза, жгло в груди. Он копнул раз, другой и упал.

К нему снова подскочил тот же высокий, тонкий унтер, рывком дернув Василия за шинель, скомандовал:

— Вэк!

Василий понял и снял шинель, сразу ощутив озноб во всем теле. Забрав ее, немец отошел к группе своих солдат, что стояли около и рассматривали русских пленных. Соловьев отполз в сторону, сел на вещевой мешок, достал из кармана гимнастерки индивидуальный пакет и стал бинтовать голову.

От группы немцев отделился один и подошел к Василию. «Тоже унтер, — подумал Василий о немце, — на рукавах такие же угольнички, как и у того».

— Кранк? Капут? — спросил немец. — Во ист капут? **

— Кранк, — ответил Василий и добавил: — Но еще не капут.

Бинт выпал у него из рук, и повязка поползла с головы: он увидел, как немец расстегивает кобуру пистолета. Вот унтер вытащил пистолет, внимательно посмотрел на оружие, потом на Василия, который следил за каждым его движением. «Ну да, конечно, он меня

убьет: больные, раненые им не нужны». Но мысль о том, что вот его сейчас не станет в живых, что пришел и ему капут, эта мысль не казалась страшной и странной, наоборот, это казалось так естественно. Он смотрел теперь уже не на пистолет, а на худое лицо унтера: Василий заметил бородавку на остром подбородке немца. «Наверно, из рабочих, тощий, в морщинах». Неожиданно унтер спросил:

— Во ист кранк?

Василий показал на глаз, на левый бок, на грудь. Немец, глядя на пистолет, спросил снова:

— Шпрехен зи дойч?*

— Кляйне, кляйне, — неумело ответил Василий. Унтер неожиданно спрятал пистолет и ушел.

Было холодно, Василий скорчился, забинтовал голову и почти задремал, как вдруг все небо вспыхнуло пожаром. Василий глянул вверх, потом на немцев. Высоко над головой туда, к Дону, летели огненные, полыхающие кометы: «катюши» громили немецкую переправу.

Немцы на секунду в ужасе застыли. Багровые, испуганные лица их в свете этих комет казались зловещими. Вдруг все пришло в движение: немцы заматались по полю, как ошпаренные, со всех сторон слышались лающие слова команды. Некоторые из фашистских солдат попрыгали в окопы и замерли.

Пленные бросили работу и смотрели на мечущихся немцев, на летящие непрерывным потоком хвостатые огненные ракеты. Все они, советские солдаты, как-то выпрямились. Их лица, освещенные отблесками света, были торжественны, серьезны. Один из них высоко поднял руку и начал махать ею, приветствуя полет ракет, словно эти ракеты были живыми мстителями за кровь и смерть, за раны и страдания.



ВИКТОР ВОЛКОВ
(1922-1985)

Виктор Сергеевич Волков родился в д. Погост Островского района Костромской области. Весной 1941 года призван в армию. Курсантом военно-авиационного училища участвовал в обороне Москвы. Был ранен. После лечения в госпитале снова пошел на фронт офицером-артиллеристом. Второе серьезное ранение выбило его из строя в бою на подступах к Днепру — навсегда потерял зрение. Член Союза писателей с 1974 года. Член КПСС с 1953 года, имел награды — орден и медали. Автор нескольких поэтических сборников.

РАДОСТЬ НЕВОЗВРАТНАЯ МОЯ

В старой нашей волости лаптежной
вижу я парнишку давних дней.
Это я на речке осторожно
пескарей ловлю да голавлей.

Вот подвину камушек немножко,
мутную водицу пронесет.
Вижу: возле прутиков — сорожка,
рак тихонько к берегу ползет.

Под рукою вздрогнула, забилась
серебристой рябью чешуя.
Детство! Детство!
Вновь ты мне приснилось,
радость невозвратная моя.

* * *

С КП приказ:
— По самолетам!..
Шестерка в полном боевом.
Рассветной дали позолота
И синь густая над крылом.
Сурово скрещенные руки,
Мотор запущен —
От винта!
Гашеток сталь в дрожащем звуке,
Консоли выгнутой черта.

Цилиндров жгучее дыханье,
Дорожка взлетная пестра.
Махнул пилоткою механик —
Мол, друг,
 Ни пуха ни пера...
В полет напутственное слово.
И вот уж винт в зеленой мгле.
Кто знает, встретимся ли снова,
Пожму ли руку на земле?

* * *

С тех пор,
Как я себя не вижу,
Прошло без мала тридцать лет.
С трудом после раненья выжил,
А солнца нет,
И света нет...

И ветер старости колыхет
Моих волос морозный дым...
Пока морщин своих не вижу,
Себя считаю : молодым.

* * *

Нет орудийных канонад,
кругом приволье и покой.
Без атакующих солдат
высотка дремлет над рекой.
И вдруг напев, сквозь тишину,
звучит для нас, простой и старый,
взлетает песня про войну,
ей вторит тихая гитара.
И где-то девушка поет
Так задушевно...

«Эх, дороги...»

Пусть юность вечная живет
без затемнений,
 без тревоги.

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

Александр Александрович Зиновьев родился в 1922 году в д. Пахтино Чухломского района. После окончания средней школы поступил на философский факультет МИФЛИ, из которого был исключен «по идеологическим мотивам». В начале войны ушел добровольцем на фронт. Танкист, летчик. Награжден медалями, орденом Красной Звезды. После войны учился на философском факультете МГУ, затем — в аспирантуре. Защитил кандидатскую, докторскую диссертации. Профессор, некоторое время заведовал кафедрой логики МГУ, был членом редколлегии журнала «Вопросы философии». Его выдвигали в члены-корреспонденты АН СССР и на Государственную премию. Но... В 1976 году был уволен с работы, лишен степеней, званий и наград, а через два года за критику Л.И. Брежнева в романе «Светлое будущее» выслан из Отечества. Многие годы жил в Мюнхене, читал лекции в университетах США, стран Европы и Латинской Америки. Избран в академии наук нескольких государств. За границей опубликовал более двадцати научных и художественных книг.

В 1991 году по переписке через посредников с главным редактором «Литературной Костромы» прислал, передавая право первой публикации своих воспоминаний на русском языке в Советском Союзе, документальную повесть «В медвежьей углу».

Указом Президента СССР А.А.Зиновьеву возвращено советское гражданство, но в Москву он вернулся через несколько лет и сразу вошел в активную творческую и политическую жизнь. Конечно, побывал в Костроме, встречался с писателями, журналистами, учеными, студентами.

Всемирно известный очевидец грозных событий, писатель, социолог и философ.

«СМЕРТИ Я НЕ БОЯЛСЯ»

Из беседы с Александром Александровичем ЗИНОВЬЕВЫМ
корреспондента «Литвратурной газеты» Олега Орехова

(«Действующие лица», выпуск 11-2004)

— Где вы встретили воину?

— На Украине, на границе. Как она начиналась, видел своими глазами.

— Первые месяцы Великой Отечественной войны обернулись для СССР крупномасштабной катастрофой. Каковы, на ваш взгляд, её причины? И каково её значение для последующего хода войны?

— Действительно, произошла страшная катастрофа. Самым ужасным было то, что значительная часть нашей армии была охвачена паникой. Причин же было много. Сразу выявились недостатки в техническом оснащении Красной армии. В ходе войны мне довелось воевать и в танковых войсках, и в авиации. Так вот, лучшие наши танки и самолёты поступили на серийное производство уже в ходе войны. А те самолёты, с которыми мы встретили войну, для решения серьёзных задач были просто непригодны.

Мне самому приходилось летать на таких самолётах, как «И-15», «И-16». «Ишаки», как их тогда называли, по сравнению с немецкими самолётами были пустым местом. Не случайно их быстро сняли с вооружения. Та же участь постигла и наши танки. Но вскоре на полях сражений появился «Т-34» — лучший танк Второй мировой войны. А в небе появился «Ил-2» — лучший штурмовик.

Другой причиной поражения явилось то, что ясная военная стратегия в начале войны у нас отсутствовала. Сказалось и военнотехническое превосходство Вермахта. Немцы к 1941 году имели мощнейшую армию, включавшую крупные танковые подразделения, а также опыт их использования и ясную установку на блицкриг. Они бросили все силы на то, чтобы сломать Советский Союз. Удар немцев действительно был настолько ошеломляющим, что во многих частях наступила растерянность, а наши потери оказались колоссальными.

Но ведь тогда были и победы. И главная из них заключалась в том, что блицкриг удалось сорвать. Удалось выиграть время, что позволило сделать войну продолжительной.

Однако в числе причин поражений первых дней войны я не стал бы называть широко распространившиеся антисоветские настроения. В последние годы об этом любят поговорить, хотя такого

как раз и не было. И какая бы ни произошла катастрофа, бои-то всё равно велись. Возникли тысячи очагов сопротивления.

Я сам в июле оказался в окружении, куда попали остатки самых разных воинских частей. Вооружены мы были плохо. Достаточно сказать, что из некоторых винтовок, в том числе моей, и стрелять-то было нельзя! Разве что в штыковую атаку идти. Располагая миномётом, мы не могли из него стрелять, так как имевшиеся мины к нему не подходили. Части бойцов положение показалось безвыходным, и они сдались. Другие же решили с боями прорываться. Некоторым, включая меня, удалось выйти из окружения.

— **Что в войне было для вас самым страшным?**

— Смерти я не боялся. Преодолевать страх смерти научился ещё в детстве. Самым страшным для меня были растерянность, паника и хаос в первые недели войны. Бойцы бросали оружие, даже когда можно было сопротивляться, и сдавались в плен. Командиры срывали знаки отличия, уничтожали документы. Возникли проблемы с боеприпасами, едой, ночлегом. Когда в течение нескольких дней солдат ничего не ел, степень его деморализации возрастала. Некоторые сдавались немцам только потому, что хотели есть. Всё это сильно угнетало.

Однако такое состояние моментально пропадало, как только находился волевой и инициативный командир, который восстанавливал советскую ячейку. И когда потом политрук говорил, что для выполнения задания нужны добровольцы, два шага вперёд делали все. Хотя в строю могло не быть вообще ни одного коммуниста! А в нём вполне могли быть и те солдаты, кто ещё вчера в панике бежал от немцев.

— **По вашим наблюдениям, много ли советских людей пошли тогда на сотрудничество с фашистами? Это явление носило массовый характер, как иногда преподносится?**

— Если сравнить с общей массой или с числом людей, мужественно защищавших Родину, таких было не так уж и много. А среди моих знакомых вообще ни одного. Конечно, советские люди сотрудничали с немцами. Большинство делало это из шкурнических соображений, из страха, из желания выжить, а отнюдь не из ненависти к советскому социальному строю.

Как оценить значение катастрофы начала войны для войны в целом? Многие видят в событиях первых недель войны один крах. Я же считаю — нет худа без добра. Выскажу даже еретическую мысль: если бы в начале войны мы не потерпели столь жестокого поражения, мы бы войну не выиграли!

Это поражение вынудило высшее руководство страны вынести из него соответствующие уроки и радикально изменить подход к войне, к выработке стратегии её ведения. Произошёл коренной интеллектуальный перелом.

На командные посты в армии стали выдвигать молодёжь с хорошим образованием. Многие из этих молодых людей быстро становились хорошими командирами. Ими укомплектовывали и штабы всех уровней. Роль штабов вскоре стала качественно иной.

Настоящее чудо произошло в сфере экономики. Заводы, создаваемые буквально на пустом месте, очень скоро начинали давать столь необходимую для фронта продукцию. Все эти факторы сыграли решающую роль в дальнейшем ходе войны. Следствием поражений начала войны стал по-настоящему до сих пор не изученный, очень глубокий переворот в сознании как руководства, так и всего населения Советского Союза.

— Когда вас впервые посетила мысль о том, что победа в войне будет за нами?

— А у меня и мысли о том, что мы войну проиграем, не возникало. Могу сказать, что в конце июля 1941 года я уже был уверен в неизбежности нашей победы. Среди тех людей, кто тогда меня окружал, никто не говорил о нашем поражении. Во всяком случае, вслух таких мыслей никто не произносил. Быть может, таковые были среди тех, кто сдавался в плен.

— Вы как-то сказали, что войну выиграл советский десятиклассник...

— Это, конечно, литературное выражение. По аналогии с высказыванием Бисмарка, который в своё время по поводу победы в одном из сражений заметил, что её «одержал прусский народный учитель». Имелось в виду, что прусская армия на тот момент была более образованна, нежели армия её противника.

В предвоенные годы системе образования в нашей стране уделялось первостепенное внимание. Для всего мира советская школа 30-х годов была беспрецедентным явлением. Тогда удалось обучить миллионы людей. Причём советская школа не только давала хорошее образование. Она воспитывала на основе образования.

В результате в конце 30-х армия стала пополняться молодыми людьми, имевшими среднее образование. Колоссально повысился интеллектуальный уровень призывников. Кроме того, была создана масса военных училищ и академий. А с началом войны подготовка офицерских кадров пошла в ускоренном варианте.

Вчерашние десятиклассники очень быстро становились командирами Красной Армии. Зачастую более лучшими, нежели те, кто, не имея образования, уже много лет служил в армии. Из вчерашних десятиклассников рекрутировали кадры для штабов, разведки. Ведь одной из причин поражения фашистской Германии стал возникший у неё в ходе войны дефицит офицерского состава. А наша армия, несмотря на огромные потери, дефицита в командном составе и штабных работниках не испытывала.

— Если сравнить стратегический потенциал генштабов СССР и Германии, в чью пользу окажется сравнение?

— В годы войны ответить на этот вопрос я был не в состоянии. Уровень моего образования сделать этого ещё не позволял. Лишь через много лет после окончания войны уже как сложившийся исследователь я пришёл к следующему выводу. Вторая мировая война носила тотальный характер. Это была война социальная. Нам противостояли не просто армии, а целый социальный строй.

Давать оценку потенциалу генштабов надо с учётом этого обстоятельства. Речь шла не просто о том, какую армию и куда переместить. Думаю, что по уровню наш Генштаб во главе со Сталиным был на порядок выше не только немецкого, а и Генштаба любого государства, участвовавшего во Второй мировой войне. Если бы это было не так, мы войну проиграли бы.

— Но если стратегический потенциал советского командования был столь высок, почему же потери СССР в разы превышают потери Германии?

— Какими бы ни были потери, Победу-то мы всё-таки одержали. Да, каких-то потерь, наверное, можно было бы избежать. Но если бы Сталин вёл себя как паинька, так, как этого желают нынешние теоретики и критиканы, войну бы мы не выиграли.

Война есть война. Сколько лет западный мир складывался как цивилизация? И сколько лет прошло после революции 1917 года? Ведь после Гражданской войны страна была разрушенной, малограмотной. Вся жизнь протекала в тяжелейших условиях. Сейчас об этом забыли. Поэтому такое сравнение просто не честное...

— Тем не менее вопрос о причинах столь крупных потерь возникает регулярно...

— Он возникает по причине научной безграмотности. Когда говорят, что мы потеряли в несколько раз больше, хочу спросить о следующем. Нам постоянно говорят— мировой терроризм объявил России войну. Посчитайте, сколько всего «мировых террористов».

Сравните их число с населением России. Цифры — несопоставимые! А всё-таки террористы действуют!

Удивляться надо не величине наших потерь, а тому, что войну мы всё-таки выиграли! Ведь в 1941 году все западные мудрецы, военачальники и политические деятели только и делали, что считали дни, оставшиеся до момента крушения СССР. Но если Париж сдали без боя, то Ленинград выстоял. Давайте сравним потери блокадного Ленинграда с потерями Вермахта. И тогда окажется, что наши потери в десятки раз выше. Но разве корректно такое сравнение? Разве оно научно?

— А каковы, по-вашему, главные причины Победы СССР в Великой Отечественной войне?

— Опять-таки здесь сработал комплекс факторов. Хотя значимость их различна. Но главный и решающий из них для меня вполне очевиден. Это тот социальный строй, который установился после 1917 года. Называть его можно по-разному. Например, реальный социализм. Все остальные факторы сыграли свою роль только потому, что существовал этот главный фактор.

Тот человеческий материал, который принимал участие в войне, был подготовлен и воспитан советской системой, обучен в советских школах и институтах. У нас же часто говорят, что в войне победил народ. Какой народ? Не просто какой-то абстрактный народ, а советский народ. Да, среди факторов, способствовавших Победе, был патриотизм. Но какой патриотизм? И потом, значение патриотизма нельзя преувеличивать. Я войну видел в самых её глубинах. На одного Александра Матросова приходилось с десятков людей, стремившихся укрыться от фронта, отсидеться в тылу. В атаку же шли по команде, а не добровольно.

Героизм был. Но он во многом был вынужденным. Героизм — временное явление. А долговременно работает организация, система. И в годы войны вся наша жизнь была организована так, что миллионы людей шли в армию и героически сражались. Не будь такой системы, не было бы и этого. А речь тогда шла о жизни и смерти целого народа. Те же заградотряды, с которыми лично мне, кстати, за всю войну не пришлось столкнуться ни разу, действовали, главным образом, как угроза.

Абсурдно мнение, будто советские люди сражались за Родину, но не за советский социальный строй. К началу войны для большинства советских людей коммунистический строй стал их образом жизни, а не политическим режимом. Отделить его от массы населения было практически невозможно. Хотели люди этого или нет, защита ими себя и страны означала защиту нового социально-

го строя. Россия и коммунизм существовали не наряду друг с другом, а в единстве.

Среди факторов, способствовавших Победе, можно назвать и огромную территорию страны, и бездорожье, и зимние морозы, и помощь союзников. Но не это было главным. Да, помощь союзников имела значение, но совсем не такое большое, как стали говорить в 90-е годы. Союзники включились в войну с целью сделать проникновение русских в Европу минимальным. В этом причина открытия ими Второго фронта. Ведь в 1943 году после Сталинграда и Курской битвы всем стало очевидно, что победа будет за нами.

К Тегеранской конференции Сталин уже завоевал себе место ключевой фигуры в мировой политике. В значительной мере он уже манипулировал поведением лидеров западных стран.

А у нас до сих пор происходят поразительные вещи. Отмечая День Победы, даже не упоминают имени Верховного главнокомандующего! Это всё равно что Наполеоновские войны без Наполеона! Я в университете задаю студентам вопрос о том, кто был Верховным главнокомандующим? Никто не знает! Называют Жукова, Конева, но не Сталина. Но это же возмутительно! Я 21 год прожил в Германии. Могу засвидетельствовать, что там никому не приходит в голову написать историю гитлеровской Германии без Гитлера. А у нас получается, будто война прошла без Сталина.

— В Германии вам приходилось встречаться с ветеранами Вермахта?

— Конечно. Одна встреча была просто потрясающей. В битве за Берлин мы вели бой с немецкими турбореактивными истребителями «Мессершмитт-262». За всю войну это был единственный бой турбореактивных истребителей против штурмовиков. И вот в Мюнхене я вместе с дочерью пошёл в музей и увидел там «Мессершмитт-262». Стал рассказывать дочери о том бое и вдруг услышал: «Это мой самолёт». Так я познакомился с бывшим немецким лётчиком, летавшем на этом самолёте в том самом бою. Впоследствии мы встречались и даже подружились.

Очень любопытно — неприязнь к немцам пропала, тем более что Германия была разгромлена. Встречая немецких ветеранов, против которых воевал, я ощущал, что мы понимаем друг друга даже лучше, чем нас понимают более молодые соотечественники.

— Как вам кажется, кто из наших писателей написал о войне наиболее правдиво?

— Что значит «правдиво»? Есть правдивость и правдивость.

Можно описать, как ходили в разведку. Или описать, какие мы были дружные. И это правда.

Но была и другая правда. У войны были разные аспекты. Война была реальной жизнью страны, огромного народа. И все социальные явления, которые существовали в мирное время, они имели место, порой в более острой форме, и во время войны. Никуда не исчезли ни стукачи, ни трусы, ни хапуги, ни все остальные.

Правдивых описаний отдельных эпизодов войны создано много. Написаны и прекрасные литературные произведения. Но глубокого социального анализа Великой Отечественной войны в нашей литературе я не встречал. Более того, до сих пор нет и научного понимания не только войны, но и всей советской системы. В 1983 году Юрий Андропов признался, что мы до сих пор не поняли советской системы. Так вот, мы не понимаем её и по сей день.

— **Вам не приходила мысль написать о войне?**

— Я писал о войне, но очень мало. Начал писать ещё во время войны. Сочинял много стихов, которые распространялись как фольклор. Кое-что напечатал в боевых листках, В 42-м году написал большую «балладу», которую восстановил частично много лет спустя. Демобилизовавшись, написал «Повесть о предательстве», которую затем Показал двум писателям. Один посоветовал её уничтожить, а другой донёс на меня. Но к тому моменту, когда с Лубянки ко мне пришли с обыском, я успел рукопись уничтожить.

Впоследствии восстановил часть повести, которая вошла в мою книгу «Нашей юности полёт». Она вышла на Западе в 1983 году к тридцатилетию смерти Сталина. В 1988 году опубликовал на Западе книгу «Исповедь отщепенца», где войне посвящены целые главы. На русском языке издать эту книгу удалось только в 1999 году. В ней и изложены мои основные мысли о Великой Отечественной войне.



ВИКТОР РОЗОВ
(1913 — 2004)

Виктор Сергеевич Розов родился 21 августа 1913 года в Ярославле в семье бухгалтера. Впервые познакомился с Костромой в 1923 году. Здесь окончил школу, увлекся театром, играл в Костромском ТРАМе и ТЮЗе. Отсюда началась его творческая судьба. Учился в московском театральном училище при театре Революции.

Участник Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен. В госпитале написал свою первую серьезную пьесу, которая обрела театральную жизнь только в 1956 году. «Вечно живые» стали визитной карточкой театра «Современник». Позже по этой пьесе был снят кинофильм «Летят журавли». Многие театры страны ставили спектакли по пьесам Розова. В репертуаре Костромского драматического театра имени А.Н. Островского появлялись «В поисках радости», «Неравный бой», «В день свадьбы», «Затейник», «Перед ужином» и другие. Его называют патриархом театра XX века. Он преподавал в Литературном институте Союза писателей СССР, участвовал в организации журнала «Современная драматургия». Лауреат Государственной премии СССР. Почетный гражданин города Костромы и области.

«СПАСИБО ЛЮДЯМ...»
(Последнее интервью драматурга)

Владимир БОНДАРЕНКО. Дорогой Виктор Сергеевич, поздравляю вас с наступающим юбилеем. Бог дал вам возможность многое в жизни осуществить. Но осталось ли что-нибудь ненаписанное, неосуществленное? О чём вы хотели, но по разным причинам так и не написали?

Виктор РОЗОВ. Хотел написать пьесу о тридцатых годах.

В.Б. Вы говорите о трагедии тридцатых годов? О той несправедливости, которая обрушилась на крестьянство, на духовенство, на интеллигенцию?

В.Р. Не только тяжело было. Но и хорошо было. Оптимизм был в обществе.

В.Б. Вы имеете в виду грандиозные стройки, прорыв молодежи в культуру и науку? Что казалось вам наиболее характерным в жизни своего поколения?

В.Р. Свобода действия. Было много беды, много крови, но были и победы, и радость была в действиях. Люди надеялись. А сейчас нет надежды.

В.Б. Как вы думаете, определялось ли развитие всего советского общества лишь одним вождём — Иосифом Сталиным, или же у людей хватало отваги на самостоятельные действия?

В.Р. Отваги хватало. К Сталину я отношусь плохо, жестоким был. Но, Володя, была свобода действий и в тридцатые годы, и в войну. Иначе бы не победили.

В.Б. Вы — мужественный и честный человек. И писали всегда о том, о чём хотели. Довольны ли вы тем, что удалось написать? Довольны ли своими пьесами, спектаклями, кинофильмами?

В.Р. Я говорю судьбе «спасибо». Мое самое яркое впечатление — фильм «Летят журавли». Очень хорошо поставлен. Замечательно актеры играют. У Татьяны Дорониной люблю смотреть спектакль «Её друзья». Это правда о том времени. Много было у нас чистых людей.

В.Б. Вы — фронтовик, чудом выжили. Были тяжело ранены. Наверное, это было самое страшное в вашей жизни, самое тяжелое. Верили ли вы в победу?

В.Р. Это было ясно для меня с самого начала...

В.Б. Каким одним словом вы бы охарактеризовали войну? Вы, уверенный в победе русских даже в самое трагическое время, отлежавший после тяжелейшего ранения в палате для смертников, но выживший ещё и верой своей, любовью своей, надеждой?

В.Р. Ужас. Любая война — это ужас.

В.Б. После выздоровления вы работали в агитбригаде, писали маленькие пьески, так и исчезнувшие. Вам не жалко их исчезновения?

В.Р. Это были дрянные пьески.

В.Б. О чём вы писали в своих первых произведениях? Какие-то фронтовые агитки, сатирические миниатюры?

В.Р. Нет. Бытовые сценки. Сам писал, сам играл, была у меня маленькая труппа. Пользовалась успехом у зрителей. Мы везде играли.

В.Б. Есть ли у вас свой любимый театр? Тот же «Современник», или Малый, или МХАТ, детский театр?

В.Р. Люблю многие театры. И детский, и МХАТ. Это моя жизнь.

В.Б. Вы были подлинным драматургическим символом театрального возрождения шестидесятых годов, были символом театра «Современник». Многие годы дружили с Олегом Ефремовым. Как сейчас вы относитесь к нему?

В.Р. Это большой режиссёр. И большой актёр. С ним играли тоже достойные актеры. Олег Табаков, Игорь Кваша...

В.Б. А как вы относитесь к художественному руководителю МХАТ имени Горького Татьяне Дорониной?

В.Р. Очень хорошо отношусь. И до постановки моей пьесы в её театре тоже хорошо относился. Всегда ценил её талант.

В.Б. Сейчас прошли злые ожесточённые годы перестройки. Люди как-то помирели душой. Поутихли. Вот и думаешь, а надо ли было делить МХАТ? И там и там свои достижения, свои поражения. Может, вместе и легче было бы пережить театральную бурю?

В.Р. Раз уж случился раскол, Володя, значит это было неизбежно. Только воевать не надо друг с другом. Играть надо. Работать надо.

В.Б. Вы верите в будущее русского театра?

В.Р. Театр будет развиваться и крепнуть. Он вечен.

В.Б. Передаю вам, Виктор Сергеевич, привет и поздравления с юбилеем от всех наших авторов и редакции газеты, от

Александра Проханова, от Станислава Куняева, от Сергея Есенина, вы же много лет руководили семинаром в Литературном институте, у вас сотни учеников по всему свету. Уверен, все они 21 августа выпьют рюмочку за вас и вашу супругу Надежду Варфоломеевну, за ваше здоровье. Как вы относитесь к молодой драматургии? Видите талантливых ребят?

В.Р. Да. Очень хорошо к молодым отношусь. Пусть пишут.

В.Б. Ещё недавно мы отмечали девяностолетие вашего давнего коллеги, драматурга, поэта Сергея Владимировича Михалкова.

В.Р. Я рад за него.

В.Б. А на днях отметим и ваш юбилей. Мы все рады, что у нас живут такие мудрецы. И вот с высоты ваших лет, сейчас как вы смотрите на события 1917 года? Это была трагедия? Ошибка? Неизбежность? Роковая случайность?

В.Р. Нет никакой ошибки. То, что произошло — очевидная необходимость.

В.Б. Что помогало и помогает вам жить, что помогало пережить все трагедии и беды?

В.Р. Я всегда надеюсь на людей. На всех надеюсь.

В.Б. Это важнейшее ваше человеческое качество, ставшее знаком вашей драматургии. Никогда никто вас не мог сломать, никогда вы не впадали в уныние. Поэтому народ и любит смотреть ваши пьесы, любит ваших героев. Запрещали к постановке ваши пьесы, а вы были уверены, что всё будет хорошо. И судьба оберегала вас. Вы дарили людям радость.

В.Р. Бесспорно. Человек не может без радости.

В.Б. Еще раз от имени всех читателей газет «Завтра» и «День литературы» поздравляю вас с юбилеем. Что бы вы хотели сказать нашим читателям?

В.Р. Спасибо людям.

НИКОЛАИ АЛЕШИН
(1903-1978)

Николай Павлович Алешин родился в д. Святое недалеко от Костромы. Школу второй ступени окончил в 1919 году. Два года учился в землеустроительном институте. Работал в родной деревне избачом, сотрудничал в костромских газетах и журналах под псевдонимом Некрасовец. Состоял в местной организации РАППа. Увлекался живописью, участвовал в художественных выставках. Заочно окончил Ярославский учительский институт в 1929 году, стал работать учителем. В 1932 году выдержал экзамены в Ленинградский институт живописи, архитектуры, скульптуры. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 года представлял свои картины на костромских художественных выставках. Работал сельским учителем. В 1954 году вернулся к литературному творчеству, был принят в Союз писателей. Писал рассказы, повести, вышло несколько книг самобытных по содержанию и языку. Его называли писателем глубоких раздумий.

ПАМЯТНИК

Из повести «На великом стоянии»

Памятник словно прятался под покровом листвы берез да теснившихся с боков к нему кустов зацветающего жасмина. Сложенная из кирпича прямоугольная плита величиной с калитку забора прочно стояла тоже на кирпичной подушке. Вся кладка была зацементирована, плита выкрашена под темно-серый мрамор. Красные надписи на ней да выше нее красная звезда на штыре явственно различались при немеркнущем свете белой ночи. Видны были вылепленные из алебастра на подушке два изображения: голова воина и факел с Вечным огнем. Ограждение из тонких железных труб, выкрашенных голубой эмалью и приваренных к столбикам тоже из труб, по квадрату охватывало это скромное сооружение.

Лысухин не нашел в нем ничего примечательного. Оно воспринялось им как обыкновенное надгробие, находящееся вне кладбища, к тому же на пустом месте, чем он даже был развлечен; хотел обмолвиться о том со стариком, но не посмел, заметив, что тот стоял возле него с обнаженной головой, держа фуражку в скорбно опущенных руках. Ветер задирал с затылка на плешь его курчавые седины. Лысухин украдкой от него тоже сволок с головы свою белую туристскую кепку с защитным от солн-

ца фиолетовым козырем из целлулоида и про себя стал считать погибших по надписям.

— Девятнадцать, — произнес так, будто подытожил нечто штучное.

— А разве мало на двадцать-то шесть дворов? — напомнил ему старик о сказанном давеча, при встрече с ним на берегу, про бывшую Алфериху. — Ну-ка, прикиньте?

В представлении Лысухина мгновенно возникли две цифры, и он совестно сник от их сурового соотношения. Старик горько посетовал:

— Хоть и не протолкалась война сюда, а вишь, с какой лихвой скоротала население, — кивнул на памятник. — Тряхнула деревню, как вор яблоню.

— М-да, — неопределенно произнес Лысухин, во избежание задеть старика излишне вольным, неуместным словом. Чтобы не тяготиться наступившим молчанием, начал читать надписи: «Бурмаков Геральд Захарыч 1922-1943 гг.», «Бурмакова Регуста Захарьевна 1922-1945 гг.»... Сразу обострился вниманием к двум заведомо нерусским именам и живее углубился в чтение. Но за последующими фамилиями еще троих Бурмаковых, семерых Рунтовых да шестерых Цыцыных попадались лишь простые, общепринятые имена. Фамилия того, кем завершался список, была проставлена не в алфавитном порядке: «Аверкин Федор Степаныч 1914-1941 гг.». Лысухин снова переключился взглядом на первые надписи и спросил старика: — Кто такие Геральд да Регуста?

Старик сокрушенно вздохнул и сказал потупившись: — Мои они: сынок и дочь. — И с застенчивой улыбкой поднял взгляд на Лысухина. — Многим вроде вас любопытно, почему так названы. А чего запирается? Время такое было. Я еще до женитьбы вступил в комсомол — один из первых в нашей деревне. Ячейка-то организовалась в Ильинском, туда и ходил. Мы стремились тогда все повернуть на новый лад. Через то и святцы побоку: своих новорожденных стали называть кому как вздумается, больше из книжек да из пьес, какие разыгрывали чуть не каждое воскресенье. Конечно, тятя не потерпел бы ни комсомола, ни всех моих замашек, да умер перед той порой: опился после бани солодовой брагой с погреба. Ну, а от матери я вскоре же отбился, волю взял. Марфу, первую свою жену, тоже залучил после свадьбы ходить вместе со мной в Ильинское и выступать на сцене, пока она не оказалась в положении. Едва выносила двойняшек: их вот, — указал на памятник. — А они задались крупные. Не отвези я ее в Гаврилово, в уездную больницу, наверняка извелась бы. Но там ей сделали кесарево сечение. Ее спасли и младенцев сохранили. После них у нас уж не было детей. Мар-

фе-то поневоле пришлось согласиться на дополнительную операцию, иначе бы при новом зачатии могло получиться то же самое. А повторные искусственные роды очень опасны. — Он потискал фуражку, в нервном возбуждении попереминался на месте и опять заговорил о своих двойняшках: — Не пришлось мне попроситься с ними тем летом, в сорок-то первом. Гера учился на курсах трактористов в Бычихе и после посевной практиковался там на ремонте техники, а Густу послали в Боговаровский район на прививку оспы. Она после семилетки поступила в медицинский техникум и перешла уж на четвертый курс. Я был тогда председателем колхоза в нашей Алферихе. Нас, партийцев и активистов, на первой неделе, как началась война, вызвали в сельсовет, куда приехал военком района. После его доклада о всенародном сопротивлении наглому врагу я вместе с некоторыми коммунистами тоже лично вручил ему заявление: «...желаю добровольцем в ряды защитников Родины». Военком одобрил мое намерение, но с веселым убеждением уведомил меня, что до запасных моего возраста пока еще не дошло. «Заявление, — сказал, — опубликуем в газете, как образец патриотизма и высокой партийной сознательности, а вы, — говорит, — оставайтесь на своем ответственном посту и жмите на повышение урожайности: хлеб — второе оружие в борьбе с немецким фашизмом». А недолге сам же вызвал меня.

«Я, — говорит, — посоветовался с секретарем райкома насчет вашего заявления. Он хорошего мнения о вас как об опытном и заботливом хозяйственнике. Поступило предписание на частичную мобилизацию пожилых военнообязанных с деловой хваткой в трудовые бригады по вывозке промышленного оборудования, зерна и скота из прифронтовых зон. Это не менее трудно, чем сражаться на переднем крае. Может, пожелаете по своей же охоте?..» Так я и разошлся тогда с семьей и домом. Домой-то довелось вернуться с войны, а родных уж не застал в нем. Геру взяли в броневую часть. Сгорел в танке на Курской дуге. А Густу по окончании техникума отправили на фронт, в полевой госпиталь. Утонула при переправке раненых через Вислу. И Марфы не стало вскоре после того. В последнем письме жаловалась, что простыла в колхозном овощехранилище, перебирая картошку. И недолге после того письма получил от сестры Анны, выданной в Дорофеево, извещение: «Скончалась, должно, от почек. За неделю так осунулась, что не узнать...» Никак не верилось. Ведь при болезни почек не худеют, а пухнут. И мне сдается, перемоглась бы, не принеси ей почтарка вторую похоронку. Наразу и извелась с тоски по Гере и Густе. — Он при всколыхе чувств накинул на голову фуражку, но тотчас же сдернул ее и опять заговорил: — Я тоже ужасно казнил тогда по ним, как и все

в деревне по своим кровным, что полегли где кому пришлось. Малость поуспокоились мы, когда поставили этот памятник: вроде как собрали всех под него, к себе приблизили.

Лысухин натянуто улыбнулся и попытался оспорить:

— Не представляю, что можно проникнуться таким убеждением. Это уж мистификация.

— Ничего не мистификация, — без толики обиды возразил старик. — Вы молоды и, знаю, не испытали с наше. Воевал ли ваш отец или кто из родных?

— Не знаю, — стушевался Лысухин. — Я не помню ни его, ни матери. Мне не было и двух, когда они развелись и, по словам бабушки, «умыкнули от нас в разные места». Он с другой, и она с другим. После смерти бабушки я уж по пятому году попал в детдом, там воспитывался, а потом учился.

— Вот-вот... так оно и получается...

Что получается, старик не досказал, лишь голосом выразил порицание. Лысухин отклонил разговор о себе, спросив про записи на памятнике:

— А почему Аверкин угодил последним в этот мемориал? Его бы следовало первой строкой.

— С ним вышло особое повремение. Он муж Секлетей-то. О нем еще до осени в сорок-то первом пришло извещение, что пропал без вести. Памятник мы сложили в пятьдесят третьем году, а о Федоре неожиданно поступили точные сведения из Белоруссии, когда там началась осушка болот. Шестерых выбрали из канала в одном месте. У всех обмундирование полуистлело и проросло тиной. В осыпке руны у одного уцелел металлический портсигар, а в нем образок Николая-угодника да фамильная записка, обернутые той свинцовой бумагой, что применяется для облаток дорогих конфет. Портсигар оказался Федора. Он не курил, но по наказу Секлетей держал его вместе с образком во спасение себе, чего не случилось. На пирамидке над братской могилой тем воинам так и написано: «Подразделение сержанта Аверкина». Секлетей ездила туда на поклон. А вернулась да узаконила на нашем памятнике кончину мужа — и понимаете, как угодно, — но тоже утвердилась в помыслах, что он там и тут. Так и живем мы с ней пока около своих, и у обоих душа на месте. Лысухина подмывало нетерпение вывести, где же эта превозносимая стариком Секлетей и что их обоюдно сблизило после войны. Сама обстановка тут способствовала откровению. Но старик вдруг умолк, коротко, только головой поклонился памятнику, надел фуражку и с той же поспешностью, с какой вышел из избы, сорвался теперь с места обратно.

НИКОЛАЙ КОЛОТИЛОВ
(1919 — 1967)

Николай Федорович Колотиллов родился 27 ноября 1919 года в д. Хорупино Даниловского района Ярославской области, там учился, заведовал сельским клубом. Был сотрудником в редакции районной газеты. В 1939 году призвали в Армию, служил до 1946 года. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации работал в районных газетах Ярославской и Костромской областей. Писал стихи, фельетоны, басни, рассказы. Первая книга «Простор», повесть в стихах, была издана в Ярославле в 1953 году. Автор нескольких книг. Член Союза писателей с 1958 года. Впечатления, переживания военного и послевоенного времени вошли в неопубликованный роман «Разбитый кремень». Последние годы жил в Нерехте.

ДАВАЙ ПОТОЛКУЕМ

Давай потолкуем...
Ты вряд ли сам
Об этом расскажешь толково,
В леса, на болота
Спускался десант
В окрестностях древнего Пскова.
Ты прыгнул.
Толчок.
Над твоей головой
Раскинулся шелк парашюта.
Вздохнул.
Осмотрелся:
Как будто живой.
И в ту вихревую минуту
Твой друг,
Твой ровесник,
Твой близкий земляк
Летел над тобой, словно камень...
Ты глянул.
Ты замер.

Ты силы напряг.
Рванулся к нему
И — руками
За стропы вцепился.
Пусть ногти сорвал.
Пусть кровь из ладоней струилась,
Ты боли не чувствовал.
Ты ликовал:
Все
Так хорошо получилось —
Ты спас,
Ты не выпустил друга из рук.
...Уже за туманы ушло то
Суровое время...
Вдруг видишь: твой друг
Стал падать в иное болото.
В пучину, что может навек засосать...
Его от лихого паденья,
По правде сказать,
Ты пытался спасти,
Но так, без особого рвения.
Плечами пожал: виноват, дескать, сам.
Такому не впрок чувство локтя.
Не спорим: виновен.
Но вспомни десант
И ногти,
Свои потемневшие ногти.

СТРОГИЕ ВОПРОСЫ

Холодная вечерняя заря
Глядит в окно.
И я, придя с работы,
Сорвал последний лист календаря.
Уходит год...
И стало грустно что-то.
С чего грустить?
Моей родной стране
Побед и счастья мало ли принес он!
Моей стране, а стало быть — и мне.
Однако ж я в тревожной тишине,
Волнуясь, задаю себе вопросы:

— А лично ты
При книжке трудовой
Не прожил ли постыдным иждивенцем?
— Как будто нет: Работник рядовой,
Кипел я в бурном деле деревенском,
Как от дождя, от пота промокал,
Знал боль в спине,
Знал на руках мозоли, —
Усталости своей не потакал,
Не притворялся, лениности мирволя.
— Ну а плодами личного труда Доволен? Нет?
— Я сделал так немного...
Год шел и шел, а я вот не всегда —
Да, не всегда! — шагал с ним четко в ногу.
Случалось так:
С дружками шумным днем
Толчем, как говорится, воду в ступе.
А день пройдет — его уж не вернем,
Ни за какие ценности не купим.
— Еще скажи:
Помог ли ты в году,
Не устрась служебных осложнений,
Кому-нибудь, попавшему в беду
По воле чьих-то низких побуждений?
Всегда ли ты был честен, справедлив?
Не поводил ли ты по ветру носом?

И через год задам, коль буду жив,
Себе такие ж строгие вопросы.

ЮРИЙ ГРИБОВ

Юрий Тарасович Грибов родился 22 июня 1925 года в селе Бугры Богородского района Горьковской области. Учился в ремесленном училище, работал судомотористом. Участник Великой Отечественной войны. Окончил пулеметное училище. Имеет правительственные награды. Военный журналист. С 1955 года семь лет работал в областной газете «Северная правда». В Костроме издал несколько книг очерков, рассказов и повесть «Сильнее смерти». С 1966 года живет в Москве. Редактировал несколько центральных изданий, был секретарем Союза писателей РСФСР и СП СССР. Теперь работает в газете «Красная звезда».

ПАРТИЗАНСКАЯ БАЗА

Из книги «Сильнее смерти»

Вечером перед домом заскрипела подвода. Люди насторожились.

— Свои это, свои, — успокоила хозяйка.

Дверь с шумом распахнулась, и на пороге вырос человек в белом маскхалате, с немецким автоматом на груди. За ним вошло еще двое.

— А ну, Ефимовна, показывай своих гостей! — громко сказал передний.

— Вон они, за перегородкой! И раздеваться не хотят, а самих ветром собьет, в чем душа только держится.

— Собьет или не собьет — это посмотрим, а бдительность в их положении — единственное оружие.

Человек шагнул за перегородку.

— Здорово, орлы! Э, да, я гляжу, тут госпиталь у вас...

Вскоре выяснилось, что деревня Замощье является базой партизанской бригады Гудкова, а Мария Ефимовна — связной.

— Вам повезло, братки, что прямо к нам вышли, — улыбается партизан, оделяя всех табаком. — Трех ваших нашли замерзшими в лесу, а восемь человек уже два дня как у нас. Сразу же за станцией Толочин, на разъезде, немцы увидели раскрытый вагон, вызвали дрезину, погалашились немного у дороги, а дальше — кишка тонка, сдрейфили.

— Мы ракеты видели из лесу, с какой-то горы, — сказал Башарин, жадно затягиваясь самокруткой.

— Со Змеинового вала, наверное. Ну да, со Змеинового, там больше нет никаких гор. Вам бы, чудакам, с этого вала правее взять, вы бы на отряд Рыжебородого наткнулись. И тем путем скорее бы к

цели пришли. Ну да ладно... И так хорошо.

— А замерзших где обнаружили?

— В сарае, у лесопилки. Легли спать и не проснулись. Один, как вы вот, в летной куртке, только вместо унтов кирзовые сапоги.

— Дьяченко Федор это, — сказал Четвергов, — или маленький стрелок-радист... Как его?

— Громов, — подсказал Хаханов.

— Точно. Они свои унты отдали раненым еще в лагере.

— Похоронили мы их как полагается. Не дошли ребята до своих, сил не хватило. Жалко... А вы что не курите, молодой человек? Не знаю, кто по званию...

— Лейтенант Четвергов. Не могу, голова болит,

— Ас ногой-то что, товарищ лейтенант?

— Говорят, что трещина на кости.

— Упали?

— Подбили зениткой.

— Вас придется сегодня же везти к нашему доктору. И обмороженных заберем, а остальных здесь пока оставим, пусть отъедятся и отдыхают. Ефимовна, как насчет бани?

— Агрофена уже топит.

— Ну вот видите. Помоемся, всю фашистскую грязь с себя соскоблите и отдыхайте до особого распоряжения. У нас тут безопасно, ни зимой, ни весной немец носу не сует. Один раз только и пропустили, когда отряда Рыжебородого не было. Так что, почитайте, ребята, а мы поехали. Федоров, поднимай лейтенанта, надевай на него тулуп.

— Я сам встану, — встрепенулся Четвергов.

Алексей поблагодарил гостеприимную хозяйку. И пока жал ей руку, Ефимовна успела ему сунуть в карман бумажный сверток.

А часа через три он был уже в партизанской землянке.

Алексея лечил партизанский доктор Михаил Калистратович Шульга, которого в отряде звали ласково Алистратычем. Это был сухонький седой старичок, необычайно предупредительный и приветливый. До войны он работал в железнодорожной больнице, а когда фашисты подходили к Орше, добровольно ушел к партизанам. Михаил Калистратович ведал санчастью, отвечал за приготовление пищи. В его подчинении были две медсестры и три повара. Первые дни, когда партизанский лагерь еще только разворачивался, Алистратыч вместе со всеми ходил на задания, участвовал в подрыве моста, где его ранило в грудь. С тех пор по приказу командира доктора за пределы землянок не отпускают.

Все это Алексею рассказала медсестра Оля Андреева, маленькая приветливая, девушка из карельского городка Кеми. Вместе с

группой бойцов выходила Оля из окружения и попала к партизанам. Она обучила своему делу еще одну девушку Фаину из той самой деревни Замошье, откуда привезли Алексея. Обе девушки, помимо дежурства, но очереди ходили на боевые задания, перевязывали раненых. Алексей пытался потом у Оли о подробностях боевых действий отряда, но она отвечала неохотно и односложно.

— Ну, что я тебе, Алеша, расскажу, когда меня не берут на большие задания, — говорила Оля, перевязывая его.

— Эх, мне бы поскорей на ноги встать.

— Что ты, Алеша! Алистратыч говорит, что ты пролежишь больше месяца. Нога опять у тебя вспухла, плечо гноится и на руке ожоги. Ты оборел в самолете, да?

— Нет, Оля. Руку мне фашист один свечкой сжег... Оля долго смотрит на бледное лицо Алексея, гладит его непослушные жесткие волосы. Сколько ночей она продежурила у постели Четвергова, отводя молодого летчика от смерти. Алексей запомнил ее маленькую теплую ладонь. Было очень приятно, когда она прикасалась ладонью ко лбу, к рукам, осматривая его или измеряя температуру.

Первые дни после операции, на которую с трудом решился Алистратыч, Алексею было очень плохо. Организм, державшийся при походе, видимо за счет силы воли, в лазарете перестал сопротивляться, и все недуги свалились на него, обложили смертельным кольцом. Сразу подскочила температура, загноились раны, пропал аппетит. Алистратыч, прослушивая Четвергова, покачивал седой головой, а Оля, стоящая сзади доктора, тревожно спрашивала.

— Доктор, неужели?..

— Все, матушка, бывает. Нogu я ему разрезал удачно, но истощение ужасное, сопротивляемость крайне низкая, а тут еще признаки заражения крови. Вся надежда на сердце, оно у него стучит пока, как мотор...

Оля не отходила от Алексея. Она делала ему холодные компрессы, вытирала полотенцем пот, поила с ложечки лекарством и бульоном, который сама варила. У Алексея часто поднималась рвота, он бредил целыми часами. Оля вслушивалась в его отрывистые слова, гладила пылающие щеки. Он то подавал какие-то команды, то делал расчеты, спорил, вспоминал мать, но ни разу не плакал и не ругался, как другие раненые.

Как-то ночью, дежурия за уехавшую в деревню Фаину, Оля заметила, что Алексей стал неровно и чаще обычного дышать. Она испугалась, схватила пульс и обнаружила, что сердце бьется с перебоями. Расстегнув рубашку, положила ему на худую грудь влажное полотенце.

— Милый, что с тобой, не надо, — всхлипывала Оля, бессильная

оказать настоящую помощь. Ей было очень жаль этого парня, прошедшего через такие муки, через такие нечеловеческие испытания.

— Господи, помоги ему! — молилась Оля, хотя никогда не слышала ни одной молитвы.

Почти никаких лекарств, которые бы способствовали снижению температуры, в лазарете не было. Добивались облегчения уходом, вниманием, надеялись на самого больного.

Полотенце быстро нагрелось, и Оля снова намочила его. Она положила свою ладонь Алексею на грудь и почувствовала, как под ребрами колотится несдающееся сердце

— Милый, мой, потерпи...

И когда ему стало совсем плохо, Оля заплакала и, обхватив его щеки, приложила губами к его спекшимся огненным губам. Алексей открыл глаза, простонал и начал бредить. Он не узнал ее.

Оля решила разбудить Алистратыча. Не одеваясь, она выскочила из лазарета, побежала в соседнюю землянку. Тихая туманная ночь дохнула на нее сыростью. Снег проваливался под ногами, и внизу чавкала вода. С юга, от теплых морей, надвигалась весна.

— Михаил Калистратавич, ему плохо!

— Сейчас... захвати мою сумку...

Алистратыч, торопливо осмотрев Алексея, нахмурился.

— Да... Сердце дает решительный бой... как говорят, или — или... Возможен, матушка, шок.

— Шок?

— Не делайте большие глаза. Я не утверждаю, а говорю — возможен.

— Может, укол сделать?

— А какой? Препараты где? Я убегу из такого лазарета! Это ужасно!

— Буду почаще менять ему компрессы,— сказала Оля после некоторой паузы.

— Вот и отлично, Оленька. Только не очень холодные.

До рассвета мочила и выжимала Оля полотенца. И утром, когда в лазарете посерело, она заметила, что Алексею стало лучше. Температура немного спала. Он пришел в себя. Попросил пить. Оля подняла ему голову и приставила к губам кружку. Он глотнул, улыбнулся. Оля взяла его руку.

— Ну вот теперь будет хорошо... Теперь тебе надо покушать, Алеша... Сейчас я бульон разогрею...

Он слабо пожал ее пальцы и опять улыбнулся, показывая верхние зубы-лопатки. Оля, чувствуя рвущуюся из груди радость, хотела рассказать ему, как он бредил и боролся с болезнью, но вспомнила, что она поцеловала его ночью, застыдилась, покраснев, опустил-

ла глаза и передумала. Нет, пусть об этом поцелует он никогда не узнает. Она сама не помнит, почему это сделала. У Оли очень мягкая, необыкновенно отзывчивая душа, она переживает вместе с большими их страдания, и доктор неоднократно утверждал, что в медицине ей делать нечего. С таким сердцем надо работать в детском саду, а не вынимать осколки из раздробленных конечностей раненых при свете коптилки. Доктор, конечно, преувеличивал, хрупкие пальцы Оли никогда не дрожали при операциях.

Две недели она продежурила возле изголовья Алексея, а чувство такое, будто знает человека всю жизнь...

В лазарете было еще трое: раненый в голову партизан и двое обмороженных, бежавших вместе с Алексеем из вагона, но попавших в другую группу. Они лежали за простынной перегородкой и должны были вот-вот выписаться. Оля и с ними была ласкова. Но к Алексею у нее было какое-то необыкновенное чувство, которое бодрило ее, придавало сил.

Такая перемена в Оле, конечно, не осталась незамеченной. Как-то Алистратыч, остановив ее при выходе из лазарета, намекнул, хитро сощурился глазами:

— А летчик твой, Олюшка, идет на поправку. Парень прямо-таки меняет цвет лица, как при кварцевой лампе... не ты ли, милая, излучаешь на него столь благодатный свет?

— Доктор?!

— Молчу, молчу...

— Михаил Калистратович, вы... — у Оли дрогнули губы, — я не виновата, и Алеше не говорите...

— Глупенькая ты у меня, медсестричка. Да, голубушка, кто тебя будет винить? Настоящая любовь, ведь она и посторонних людей делает чище. А Алешке твоему и говорить ничего не надо, он сам все знает и тебя не меньше любит.

— Доктор, неужели?

— Ты думаешь, Алистратыч старый дурак, умеет только людей резать? Нет, Алистратыч, матушка, на то и очки носит, чтобы все видеть...

— Спасибо, доктор.

— А что я? Я ничего. Вон журавли скоро с юга потянутся, и разве их чем остановишь? Ничем их, Оля, не остановишь.

— Они в нашу Карелию полетят, у нас там озер много.

— Ну, вот видишь, вот и хорошо, — посматривая в серое небо, сказал Алистратыч и, помедлив, продолжил задумчиво: — А я похоронил свою старуху, да, похоронил перед самой войной...

Доктор сворачивает к штабной землянке, а Оля стоит на дороге и провожает взглядом его сутуловатую фигуру.

ВИКТОР ХОХЛОВ

Виктор Константинович Хохлов родился в 1822 году в Костроме. Сразу же после окончания средней школы был призван в Красную Армию и оказался на службе в одной из авиационных частей Западного Особого военного округа. Великая Отечественная война застала его в Белоруссии, в качестве военного радиста он участвовал в боях. Имеет правительственные награды. Демобилизовался только в 1947 году. В Костроме стал работать в редакции радиовещания, затем — в районной и областной газетах. В 1960 году переехал в Москву, в центральном аппарате «Сельской жизни» был редактором по отделу культуры и сельских школ, ответственным секретарем. С Костромой имеет постоянную связь, приезжает «сбирать» материал для очерковых книг. Член Союза писателей, лауреат нескольких литературных конкурсов. Большую часть творчества посвятил людям Костромской земли, об этом свидетельствуют книги «Сусанинский тракт», «Возле моря Костромского», «Вид с Молочной горы», «Один день и вся жизнь», «Земляки» и другие. Живет в Москве. В Костромском Землячестве руководит секцией литературы и искусства.

В ЧАС ИСПЫТАНИЙ

Из одноименной повести

Вероятно, ничто не может более сблизить людей, нежели фронтовое братство, общность трудной боевой судьбы. В годы Великой Отечественной войны даже особые слова-обращения в постоянный обиход вошли: доброе, почти ласковое «братья-славяне» и привычное, но получившее более выразительную окраску — «земляки». «Эй, землячок! — окликнут бывало. — Нет ли закурить?» И встретились-то, может, первый раз, и «земляки» постольку лишь, что «под одним солнцем портянки сушили», а все равно сближало, обдавало теплом.

Однако ж возникали порой — случайно ли, по прихоти ли начальства — и подлинные (пусть маленькие, в пять-шесть человек) фронтовые землячества. Нечто подобное образовалось и у нас...

В июле сорок первого наша часть стояла под Рославлем, в густом, еще не опаленном войною лесу. Я со своей радиостанцией расположился у самой опушки, где березняк небольшим треугольником вдавался в кромку полевого аэродрома. Место было выбрано удачное: надежно укрытые со всех сторон, сами мы имели великолепный обзор.

Самолеты тоже разместились по опушке и были столь тщательно замаскированы, что немецкая воздушная разведка долго не могла заметить ничего подозрительного: кругом тишина и покой. Лишь когда объявлялся вылет, картина мгновенно преображалась. Маскировочные березки, словно это была театральная декорация, вмиг раздвигались в стороны, «идиллический» пейзаж оглашался дружным ревом моторов, и из зеленых тайников, на ходу освобождаясь от ветвей, выкатывались боевые машины. Разбегались иногда сразу по двум взлетным полосам, с интервалом в минуту-другую взмывали в небо, и на аэродроме вновь ненадолго воцарялась обманчивая тишина.

И тотчас у нас в наушниках по базарному шумно оживал эфир: стрелки-радисты спешили установить связь с землей. Настоящая вакханалия! Представь толпу, в которой все, не обращая внимания друг на друга, кричат одновременно, причем каждый старается быть услышанным первым и поскорее получить ответ. Разница лишь в том, что вместо человеческих голосов на разные тона пищит-заливается морзянка.

На первых порах мы не только терялись, а испытывали панический страх перед этим вихрем радиосигналов, боясь что-то не услышать, пропустить, не понять. Но постепенно освоились, привыкли, отличая одну самолетную рацию от другой не только по позывным, но и по тональности, а также по «почерку» радиста, успевая схватить главное и тут же, улучив мимолетную паузу, переключиться на передачу, чтобы подтвердить: «Вас понял. Перехожу на прием».

Начальник связи дивизии, внешне грубоватый и шумный майор Зыбенко, даже прислал к нам в подкрепление и «для науки» прибывшего из какой-то части радиста-аса. Парень представился: Костя Стрельцов, ленинградец, наполовину моряк — работал на морфлотовской радиции, имеет первый класс. Впрочем, тут же без обиняков признался, что попал к нам по чистой случайности: просился стрелком-радистом на самолет, и взяли бы, с командиром эскадрильи договоренность уже была, да Зыбенко помешал. «Вы, мужики,

только не обижайтесь, — простодушно добавил Костя, — но я все равно при первой возможности в полк сбегу. У меня к фашистам счет особый, лично свой...»

Окончательно же наши отношения утряслись после первого его дежурства. Когда на флотского аса обрушился шквал позывных, Костя, добросовестно пытаясь записать каждого и не успевая, «полундру» закричал: «Братцы! Смените кто-нибудь!» Рядом находился Борис Румянцев, старший радист, он и подстраховал без лишних слов. Вечером, вспоминая свой конфуз, Костя только головой качал:

— Надо же, как оскандалился. И смех и грех.

— Ничего, освоишься, дело не хитрое, — ободрял я, подмигивая ребятам.

Зыбенко на другой день поинтересовался, как новичок. Ну, я ему примерно в тех же словах — осваивается, мол, привыкает. Деликатно так: дескать, и мы не лыком шиты, моряками нас не удивишь.

С начальником связи, кстати сказать, у нас сложились прекрасные отношения. Считая радистов «золотым фондом армии», он был нашим заступником и отцом. В отличие, между прочим, от непосредственного начальника, командира роты Климова. Прибывший к нам по мобилизации, из запаса, он, судя по всему, прежде имел отношение лишь к проводной связи и видел смысл только в ней. Радистов же полупрезрительно именовав «интеллигентами», вниманием не баловал и во время редких своих посещений почти всякий раз обещал выбить из нас «кислую шерсть».

Между тем, работы было невпроворот. Даже ночь редко выдавалась спокойной. Как писал впоследствии об этих днях маршал авиации Скрипко, радиостанции были загружены до предела: «Немногочисленные наши шифровальщики были завалены работой... Пришлось ввести жесткий порядок в использовании радиосвязи — сократить количество и объем радиogramм, создать возможность очередной передачи оперативных распоряжений».

На аэродроме базировалась смешанная фронтовая авиачасть. До войны мы привыкли считать себя «истребителями», поскольку с первого дня службы входили в состав истребительной авиадивизии 43-й ИАД, но от наших любимых еще с детства «ишачков» и «чаек» в ней немного осталось: значительная часть их погибла под первыми же бомбовыми ударами врага.

В зеленых «ангарах», подобно большим затаившимся птицам, прятались бомбардировщики «ИЛ-4» и «ПЕ-2», новые по тому времени «МИГи» и «ЯКи». Впрочем, было и несколько уцелевших «И-

16» («ишачков»). Самолеты стояли прикрытые срубленными березками, готовые взлететь в любую минуту, с экипажами на борту.

Истребители обычно держали микрофонную связь непосредственно с командным пунктом, нам приходилось лишь подстраховывать или иногда исподнять роль радиокompаса, то есть непрерывно «держать» свой голос в эфире (пели песни, читали стихи и пр.), чтобы кто-нибудь из пилотов часом не заблудился. Но это когда истребители летали на дальние расстояния одни, без бомбардировщиков, а такое случалось редко, чаще бывало наоборот.

Зато уж и запоминались подобные случаи надолго. Как-то командованию ВВС по данным воздушной разведки стало известно, что на одном из аэродромов скопилось около полусотни готовых к вылету фашистских истребителей «Me-109». Нашей дивизии была дана команда нанести упреждающий удар. Получив эту радиограмму, и, естественно, еще не зная содержания, я, что называется, нюхом уловил ее особую важность. Когда позвонил Зыбенко, у меня уже все было готово, чтобы обеспечить надежную связь.

Ну, поработали тогда наши ястребки! Около восьмидесяти самолетовылетов за день! Дали фашистам прикурить: пулеметно-пушечным огнем, да еще реактивными снарядами, вдоль и поперек! Ни одному «мессеру» не позволили взлететь.

Вообще же боевой вылет продолжался, как правило, недолго: вынырнет эскадрилья из своих укрытий, уйдет на бреющем за перелесок, а через полчаса уже обратно жди. Бомбили танковые колонны, вражеские поезда, скопления мотомеханизированных частей.

Приказы передавались откуда-то «сверху», наверно из ВВС, и хотя шифровки шли через нас, мы могли только догадываться об их содержании. Лишь однажды срочная радиограмма была расшифрована при мне. Фразы предельно точные, жесткие, без пояснений и лишних слов:

«Бомбить самолеты противника на аэродроме Витебск и площадку Сава по дороге на Оршу.

Уничтожать переправы через Днепр на участке Шклов, Копысь.

Уничтожать мотомехчасти противника на дороге в направлении Красные Горки...».

Если сказать поточнее, военным языком, дислоцировались мы между Рославлем и Ельней. А к северу, к западу, к югу от нас гремело, полыхало, перекатывалось Смоленское сражение сорок первого года. В середине июля крупные соединения немецко-фашистских войск прорвали оборону Западного фронта в центре и на правом крыле, окружили Могилев, захватили Оршу и Кричев. Пал Смоленск.

Лишь на левом крыле фронта двадцать первая армия генерал-полковника Кузнецова продолжала оказывать сопротивление, сумела освободить Рогачев и Жлобин и на какое-то время сковать врага. Но это был зыбкий, почти призрачный успех.

В двадцатых числах ситуация вроде бы несколько изменилась к лучшему. В сводках Совинформбюро и в устных пересказах все чаще стало упоминаться имя боевого генерала Рокоссовского. Мы знали, что он воевал где-то рядом: армейские оперативные фуппы под его командованием нанесли ощутимые удары по противнику из районов Ярцева и Рославля, помогли двум армиям прорвать кольцо окружения, вынудили фашистов перейти к обороне. По радио передали, что танковые и моторизованные соединения немецкой группы армий «Центр» потеряли около половины своего состава.

Вновь засветился лучик надежды: «Может, скоро погоним гада?» Радиосводки, хотя и тяжелые, чуть-чуть обнадеживали. От звуками далекой, словно бы нереальной жизни, доносились по вечерам из трофейного приемника песни Леонида Утесова, Изабеллы Юрьевой, Клавдии Шульженко. Но с наступлением ночи их сменяли другие звуки: в небе возникало мерное гудение самолетов — наших тяжелых бомбардировщиков «ТБ-3». Грозными мстителями плыли они в стан врага, чтобы поразить разведанные при свете дня цели, и никто не знал, сколько их вернется назад, и зыбкая тревога закрадывалась в сердце, потому что, в отличие от сводок и песен, это была сама реальность.

Самолетов все более ощутимо не хватало. Одно командование ведало, сколь велики были потери авиационной техники. Но и мы вели свой горький счет: по числу не вернувшихся с задания, по тому, как день ото дня редели полки. Говорили, что к началу Смоленского сражения в ВВС Западного Фронта оставалось всего лишь около шестидесяти бомбардировщиков. Массированные вылеты становились все более редкими, самолеты приходилось экономить. Ставка приказывала: «Бомбометание одной цели производить одновременно силами не более звена, в крайнем случае эскадрильи». Другим приказом предписывалось усилить боевые действия в ночные часы.

Условия нашего лесного бытия также были довольно суровы. Запрещалось без особого распоряжения выходить из леса, купаться в реке, пользоваться водой из колодцев и других источников для питья и т.п. Воду привозили раз в сутки — поздно вечером или рано утром. Доставлял ее старенький водомаслозаправщик (ВМЗ), вечно покрытый пылью, с продырявленным во время бомбежки боком и болтающимся сзади ведром. Когда этот автоинвалид появлялся на

лесной дороге, навстречу ему устремлялись все, кто был свободен, на ходу выстраивая очередь и готова фляжки.

Каждый был волен распорядиться суточной нормой по-своему: хоть сразу выпей, хоть до послезавтра растяни. У нас после одного несчастного случая, когда воду пришлось сливать из всех фляжек буквально по капле, постоянно существовал общий неприкосновенный запас — «НЗ». Следить за ним — пополнять, расходовать, честно делить между всеми — поручалось обычно Румянцеву, это уж как бы само собой. Когда дело касалось дележа чего бы то ни было: сухого пайка, случайной пачки табаку — без колебаний и единодушно называли его: «Боря, дели!»

А славно это, когда все на всех! Ни жадности, ни зависти, ни упрека, ни попрека: если последняя кружка воды оставалась, никому и в голову не придет тайком из нее хлебнуть, если сигарка одна — все равно каждый хоть разок да курнет. Не горечью лишений, не голодом, не жаждой это запомнилось — чистым отблеском единой, хотя и тяжелой судьбы.



СЕРГЕЙ МАРКОВ
(1908 — 1979)

Сергей Николаевич Марков родился в древнем посаде Парфентьеве. Грамоте обучился рано по книжкам с картинками. Отец его Николай Васильевич межевал земли Северных увалов, когда его повысили по службе, семья переехала в Вологду, затем в Грязовец, далее — в Верхнеуральск, в Акмолинск. Так с детства и начались скитания. Работал в газетах. Встречался с А.М.Горьким. В двадцатых годах печатал стихи и рассказы в сибирских изданиях. Поэт, писатель, путешественник, исследователь. Занимался краеведением, изучением истории Севера. До войны жил в подмосковном Можайске. Написал роман «Юконский ворон», повести о Миклухо-Маклае, Пржевальском. Грянула Отечественная война. Около трех лет прослужил на защите Родины рядовым. Ранен.

С.Н.Марков был действительным членом Географического общества СССР, членом Союза писателей. Круг его творческих интересов чрезвычайно широк — поэзия и проза, археология и история, география и искусство, этнография и политэкономия. Его книги учили и учат любить Родину, ее историю, свой народ.

РУССКАЯ РЕЧЬ

Я — русский. Дышу и живу
Широкой, свободно речью.
Утратить ее наяву —
Подобно чуме иль увечью.

Бессмертной ее нареки!
Ее колыбель не забыта;
В истоках славянской реки
Сверкают алмазы санскрита.

Чиста, как серебряный меч
И свет в глубине небосвода,
Великая русская речь —
Надежда и счастье народа.

Мне снилось: пытали огнем
И тьмою тюремного крова,
Чтоб замерли в сердце моем
Истоки могучего слова,

Но вновь я познал наяву
Ровесницу звездного свода,—
Я снова дышу и живу
Надеждой и счастьем народа!

* * *

На дне походного мешка
Крыло сухое мотылька
Хочу найти. Глазам не верю.
Перебрала моя рука
Пожитки, крохи табака...
Мне помогала лишь тоска
Поверить в нежную потерю.

Еще дышали в сентябре
Деревья в теплом серебре
И медлил утренник суровый,
Еще стояла тишина,
И рос у нашего окна
Мак, одинокий и багровый.

Я взял на память лепесток...
Светился инеем песок,
Шумела на привале рота.
Я на песок холодный лег,
И мне приснился мотылек
Под гром чужого самолета.

Мне снились пчелы и цветы,
Багряный мак... И снилась ты
В сиянье майского простора.
Проснулся я. Нашла рука
Холстину грубого мешка
И лед ружейного затвора!

1941

ГРОЗНАЯ ВЕСНА

Когда последний вздох зари
Растает в сумеречном мире,
Огромные нетопыри
В бесменном кружатся эфире.

Когда и Мюнхен, и Берлин
Смыкают виевы ресницы,
Плывут над серебром долин
Неясных теней вереницы.

Внизу Европа — что пустырь,
Столиц разрушенные соты.
«Я — «Черный крест»! Я — «Нетопырь»!» —
Кричат по радио пилоты.

Берлин сквозь сон хрипит: «Скорей
Старайтесь возвратиться в норы,
Огнем зенитных батарей
Пылают русские просторы...»

Восток по небу расстелил
Багровый раскаленный полог.
Тебе не счесть стальных светил —
Комет возмездия, — астролог!

И вновь спокойна высота,
А враг лежит в сырой низине,
И знаки черного креста
Трепещут в пламенном бензине,

Светла весенняя заря,
И сердце радует примета:
Последний стон нетопыря
И песни русского рассвета!

1944

ВИТАЛИЙ ПАШИН

Виталий Васильевич Пашин родился 1 февраля 1926 года в г. Сасово Рязанской области. Родители были служащими, несколько раз меняли место жительства, поэтому в детстве Виталий успел пожить и в Нее Костромской области, и в Емецке на Северной Двине, и в Тушино под Москвой. А среднюю школу окончил в Казани в 1943 году, семнадцатилетним юношей добровольно пошел в армию. В летное училище не приняли по зрению, попал в авиационно-техническое. На Белорусском фронте был механиком по спецоборудованию самолетов. После демобилизации в 1951 году учился в Московском университете на факультете журналистики. Работал в газете «Советское Зауралье», собственным корреспондентом ТАСС в Чите, Благовещенске, Перми, а с 1972 года — в Костроме. В Союз писателей принят в 1969 году как сатирик и юморист.

Но вскоре литературные интересы расширились, увлекся краеведением. Издал более двадцати книг.

Активно сотрудничает с различными периодическими изданиями, выступает на радио и телевидении. Имеет правительственные награды: три ордена, много медалей. Заслуженный работник Культуры России. Лауреат губернаторской премии «Признание».

КАТЮША

Когда под Новый год наш неугомонный хормейстер Петр Букатчук, выступая с одним из своих певческих коллективов в госпитале инвалидов Отечественной войны, объявил: «А сейчас мы исполним всеми вами любимую, самую популярную на Фронте и в тылу песню... подскажите какую?», кто-то выкрикнул: «Огонек», кто-то назвал «Землянку», но большинство ветеранов ответило: «Катюша».

В самом деле, рожденная в 1938 году песня Матвея Блантера сразу и надолго покорила сердца россиян. А ведь ее могло и не быть: Михаил Исаковский как-то между делом набросал на клочке бумаги пришедшее на ум четверостишие и остановился, что-то его отвлекло от письменного стола. А листок со словами «Расцветали яблони и груши...» со временем был завален другими рукописями и окончательно затерялся бы в бумагах поэта, если бы однажды не попал на глаза пришедшему в гости к Михаилу Васильевичу Матвей Блантер.

— Прекрасный куплет! — воскликнул композитор, — Сам просит-ся в начало песни. А ну давай гони продолжение, а я напишу музыку.

В те предвоенные годы страна жила напряженно, на ее границах то и дело возникали инциденты: в Средней Азии мutilовали воду недобитые басмачи, на Дальнем Востоке — японцы и китайцы, в Карелии — белофинны... Так что пограничным войскам покоя не было. Это обстоятельство и подвигло Исаковского завершить песню передачей Катиного привета бойцу дальней погранзаставы и наказом: беречь родную землю. Вот так, по воспоминаниям Блантера, и родилась «Катюша». Премьера песни состоялась в Москве на сцене Колонного зала Дома союзов в концерте, посвященном XXI-й годовщине Октябрьской революции. Первой исполнительницей стала солистка джаз-оркестра Виктора Кнушевицкого Валентина Батищева. Успех был колоссальный. Песню повторили «на бис». А вскоре появилась и грампластинка с «Катюшей». Именные певцы Георгий Виноградов, Лидия Русланова и множество других менее известных солистов театров и Филармоний включили новинку в свои репертуары.

Ни один концерт профессиональных артистов и художественной самодеятельности не обходился в ту пору без «Катюши». На праздничных демонстрациях, в туристских походах, на семейных торжествах она была желанной песней. А в войну обошла все фронты, Флота, госпитали. Причем каждый род войск имел свой вариант. Известный фольклорист профессор Розанов выявил и записал около сотни перефразов, в которых девушка Катя фигурировала в ролях медсестры и летчицы, трактористки и ткачихи, связистки и разведчицы, партизанки и снайпера...

А были тексты, воспевающие подвиги конкретных героинь, таких как защитница Сталинграда пулеметчица Катерина Иванова или зенитчица Катя Божка, сбившая восемь вражеских самолетов. Ну и, конечно, фронтовые поэты не обошли своим вниманием реактивные установки — гвардейские минометы, посвятив им такие строки:

Шли бои на море и на суше,
Грохотали выстрелы кругом.
Распевали песенки «катюши»
Под Калугой» Тулой и Орлом.

Нашу «Катюшу» услышали и полюбили бойцы Сопротивления Франции, Югославии, Польши, Чехословакии. А в отрядах итальянских партизан, где было много бежавших из плена русских солдат, «Катюша» стала гимном. Ни одной другой нашей песне в годы войны не выпадала такая громкая интернациональная слава.

И наконец, «Катюшей» фронтовики стали называть полевые кухни, горбушки хлебных караваев, окопное огниво — кресало. А в авиации — бензозаправочную автомашину.

Ко всему рассказанному выше прибавлю весьма курьезный эпизод, одним из участников которого довелось быть мне. Он тоже связан с песней «Катюшей», эксклюзивный перевод которой на английский язык сделал один чудаковатый британец.

Когда сразу после окончания войны Берлин был разделен на четыре оккупационных зоны, аэродром, где базировался наш авиационный полк, оказался в нескольких километрах от границы с британским сектором. Английские парни пожаловали к нам в гости первыми. Словно задавшись целью опровергнуть закрепившуюся за «сынами Альбиона» славу чопорных неulyбчивых парней они без умолку тараторили, громко смеялись, особенно после того, как по кругу была пущена фляжка с водкой.

Довольно сносно говоривший по-русски английский офицер не оставлял без перевода ни один вопрос, ни одну реплику, которые так и сыпались из уст захмелевших союзников. Они привезли с собой банжо и под его аккомпанемент исполнили несколько песен.

На следующее воскресенье ответный визит соседям нанесли мы. Накануне замполит полка подполковник Середа сколотил маленькую концертную бригаду: баянист, два гитариста, три солиста и я, исполняющий обязанности ведущего.

Первым номером нашей программы была популярнейшая песня «Катюша». Для начала я медленно прочитал ее куплеты, переводчик внимательно выслушал меня, подумал минуту и начал бойко что-то говорить по-английски под аплодисменты и хохот слушателей.

Замполит враз насторожился:

— Чего это они гогочут? Вроде бы смешного ничего нет в песне. Наверно он пакость какую-нибудь присовокупил насчет наших девчат. Посмотри на его рожу — сплошь скабрзность. Давай-ка выясни, только по-умному, чего он в своем переводе нагородил?

Выполнить задание замполита оказалось совсем несложно. После концерта во время товарищеского ужина я подсел к переводчику и, изобразив на своем лице восторженное недоумение, спросил, как ему удалось в двух словах рассказать содержание «Катюши» и при том рассмешить зал?

— Я, возможно, допустил неточность. Поправьте, если что...

— Слушаем, слушаем, — придвинулся к нам Середа.

В обратном переводе текст песни выглядел примерно так: русские солдаты под прикрытием тумана вывели на крутой берег реки реактивную установку «катышу» и устроили фрицам такой концерт, что те «за ярким солнцем вслед» едва сумели унести ноги.

Замполит остался очень доволен переводом и долго тряс руку английскому офицеру. А я подарил ему свое экзотическое кресало, которое в обиходе фронтовиков тоже именовалось «катышей».

ВЯЧЕСЛАВ СМИРНОВ

Вячеслав Васильевич Смирнов родился 5 марта 1928 года, в д. Кривячке Шарьинского района Костромской области. Учился в Ленинградском Коммунистическом институте журналистики. Участник Великой Отечественной войны, военный журналист. Был ранен. Имеет правительственные награды. С 1949 года в Костроме. Работал директором областного Дома народного творчества, деканом факультета общественных профессий в сельхозинституте, директором Дома книги, возглавлял бюро пропаганды художественной литературы при областной писательской организации. Автор нескольких книг сатиры и юмора, многих публикаций в периодике, переводил юмористические произведения с украинского, белорусского, грузинского и других языков. Член Союза писателей и Союза журналистов.

НАШ «ВЕСЕЛЫЙ ЭКИПАЖ»

Недавно в одном из белорусских музеев боевой славы мне довелось увидеть почти полный комплект — подшивку газеты нашего воинского соединения. Я долго просматривал пожелтевшие страницы пережитого. Порой хотелось воскликнуть: как молоды мы были!.. Вот наивная картинка Пети Семенкова, а ниже — стихотворное «прибавление» моего сочинения:

Фриц, оставший от колонны,
Забежал в крестьянский двор
И у тетушки Матрены
Курицу рябую спер.
Он, держа добычу, мчит
Вдруг фугаска рядом — бух!
И от курицы и фрица
Полетел по ветру пух.

А на должности «деда» в нашей газете одно время был известный поэт-песенник Яков Шведов, автор того популярнейшего «Орленка». Кстати, относительно — «деда» следует, пожалуй, оговориться: почетным именем «Дед» в редакциях называли прикомандированного писателя, как правило, работающего не по плану редакции, а по велению своего сердца, «по своему хотению». Яков Захарович Шведов тогда был в чине майора, а я — в невысоком звании старшины. Подчеркивая свой сравнительно солидный возраст и отличия старшего командира, Яков Шведов подарил мне однажды такую шутку:

И на войне —
по важности чины:
сатирик должен быть
не выше старшины.

В боях за Днепр и освобождение правобережной Украины наше мотострелковое и танковое соединение успешно взаимодействовало с авиацией. Советские бомбардировщики «Ил» (авиаконструктор Ильюшин) во многом решали успех боёв. Наш юмористический «Веселый экипаж» газеты так откликнулся на это событие:

Обер унтера спросил:
— Где ж ты этак нос разбил?
Говорит фашист в ответ:
— Нам на фронте спасу нет!
Как нагрянут «Илы» строим,
Мы носами землю роем!

Прошло много лет. И вот мои однополчане — московские маститые поэты Яков Шведов и Евгений Казанцев пригласили меня на творческие встречи с учащейся молодежью столицы. Особо запомнилась одна встреча в Сокольническом районе Москвы. Тогда в школьном музее боевой славы среди многих экспонатов я увидел. и наш «Веселый экипаж». Спасибо юным друзьям за доброе внимание к фронтовому юмору! Эта страничка в музее даже под стеклом:

На букву «Д», как говорится.
Названий много, там и тут.
Едва до «Д» доходят фрицы.
Им непременно там капут!
За Дон держались, да напрасно.
Стянули силы за Донец.
Мы их разбили, дело ясно.
И на Десне врагам конец...
И на Днепре, и на Дунае
Худая участь фрицев ждет.
А наша армия родная
Дорогой подвигов идет!

Когда наши войска освободили украинское Полесье — землю наших побратимов, «Веселый экипаж» вышел с острой карикатурой. Петр Семенов, ныне живущий в г. Боярка Киевской области, тогда сделал гравюру на линолеуме. Под заголовком «Допелся» — мой текст:

«Ганс: Правда ли, что перед отступлением из города Ровно, поддерживая дух -гитлеровских вояк, обер-лейтенант запел боевую песню?..

«Фриц: Да! Но его песенка уже спета!»

У «Веселого экипажа» «была, разумеется, склонность и к лиризму. Прав знаменитый Степан Олеиник, говоря: «Я потому пишу сатиру, что нежно лирику люблю». Многие лирические стихотворения Якова Захаровича Шведова, опубликованные в наших газетах «За победу» и «За честь Родины», хранились у меня в заветном «кархиве». Однако в сентябре 1981 года, когда Яков Шведов вторично приехал в Кострому и охотно согласился побывать у меня на родине — в Шарьинском районе, я расчувствовался и подарил ему альбом с газетными вырезками. А 25 октября 1981 г. получил от него письмо.

«Дорогой Вячеслав Васильевич!

Сердечно благодарю за все-за все — за встречи, за поездку в Шарью, за фронтовые воспоминания, за газетные вырезки... А поездку в Киев рекомендую отложить до 9 мая. 9 мая у ст. метро «Арсенальная» соберутся наши братья по оружию, в их числе — душа 40-й армии А. Розенберг»... Это написано 25 октября 1981 г.

Наша встреча в Киеве не состоялась: Яков Захарович тяжело заболел. Книги доброго друга с его дарственными надписями я храню бережно. Это бальзам для души. Не зря ж лирику Якова Шведова в свое время так любил Николай Островский, особенно песню «Орленок», и наш «Веселый экипаж» крепко дружил с этим гвардейцем литературного фронта.

СТИХИ В ОБОЙМЕ, КАК ПАТРОНЫ

На левом берегу Днепра, неподалеку от Переяславля-Хмельницкого, залегла в степи разведрота. Головы не поднять: враг с выгодных позиций обстреливает наши укрытия.

А сержант Григорий Спицын «на досуге» строчит в записной книжке:

Обстрел идет вторые сутки.
То недолет, то перелет.
Со мной стихи — «Иосиф Уткин».
Мы оба взяты в переплет.
И если я сегодня ранен,
Он тоже порван, говорят...
Его укроют в чемодане.
Меня отправят в медсанбат.

Туман сгустился над Днепром. И тогда наши смельчаки пошли на штурм...

К концу боев на плацдармах правого берега Днепра среди личного состава нашего соединения, впоследствии поименованного

«Днепровским», тридцати семи воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. Сержант Григорий Спицын получил тогда в награду за подвиг орден Отечественной войны первой степени. А в его записной книжке появились новые стихи:

Герой не тот, что — грудь горою.
А голос — во! И руки — во!
Не громким голосом героя
Мы измеряем рост его.
Другой, глядишь, и скажет скупю.
И вид не тот, и ростом мал,
Но как высок его поступок,
Как звонок мужества металл!

Записную книжку сержант носил в левом кармане гимнастерки, у самого сердца. Юноша мечтал, конечно, о скором возвращении домой, в родной город Балаково Саратовской области. Вслух он любил читать стихи о матери.

Солнце взойдет, не закрытое тучами,
В ветре почуете запах морей.
Я поднимусь на ступеньки скрипучие
И постучусь у знакомых дверей.
Выйдет родная в платочке поношенном
Сына из дальнего края встречать.
И обниму я седую, хорошую.
Радость мою, ненаглядную мать!

...Вторично встретил я Григория Спицына уже в Германии, в местечке Фирцигхубен. На фронт приехала московская бригада артистов под руководством Бориса Вяткина. Помню, как возле высокой ограды богатого особняка сошлись бортами четыре автомашины, образуя довольно широкую площадку для эстрады. Занавес открыт до самого неба. Концерт вела тогда артистка Туроверова. Баянист Лопатин виртуозно наигрывал всякого рода попури. Зоя Проппина пела русские и украинские народные песни. Выступали темпераментные танцоры Людмила и Эдуард Янсоны. Невообразимые трюки проделывали акробаты Почиталов и Калашников.

В финале вышла на сцену вся бригада артистов. Грянули аплодисменты. И тут «под шумок» протиснулся к сцене мой хороший знакомый сержант Спицын и, не обращая внимания на протесты «военной администрации», как-то ухитрился получить автограф самой красивой артистки Галины Щеневой. Я ему позавидовал. Когда артисты уезжали из Фирцигхубена в город Эльбинг, мы долго смотрели им вслед. Григорий Спицын был печален и неразговорчив.

* * *

Ночь застигла нас в лесу под Карвитеном, близ города Мюльхаузуна.

Шофер Брыкин загнал фургон в заросли ивняка. Ефрейтор Стафиевский собрался готовить ужин.

И тут мы услышали нарастающий гул самолетов. Над лесом на малой высоте кружил «транспорт» противника.

— Наверно, высадился десант, — высказал предположение техник-лейтенант Диев и приказал занять оборону.

Вскоре открылась беспорядочная стрельба. Гитлеровцы шли в наступление. А наши силы на этом участке фронта оказались малочисленными.

Командир отделения сержант Григорий Николаевич Спицын принял на себя главный удар врага и... пал смертью храбрых.

Простреленный на груди сержанта рукописный сборник стихов я послал в фольклорный отдел государственного литературного музея по адресу: Москва-19. Моховая, 6.

Вот одна из последних страниц в записной книжке Спицына:

...Ах, — вздохнете, — Не те уж годы!..
Пробуждается новый день.
Глянь, стоит, опершись на воду,
Старика одинокая тень.
Это я. Далеко непохожий
На того, что был в двадцать лет.
Но от этого жизнь дороже,
Что дороги назад уже нет.
Мы — далекой войны солдаты,
Кем воздвигнуты мир, тишина.
Перед нами в тени кудлатой
Улыбаются Он и Она...
Мы пройдем, не спугнув мгновенья,
Но почувствовав этот миг:
Это люди того поколения,
Кто войну узнает из книг.

ВАСИЛИЙ СТАРОСТИН
(1910-1995)

Василий Адрианович Старостин родился в вятской деревне Калюжино в 1910 году. Окончил физико-химический факультет Московского государственного университета. Занимался научной деятельностью. Много странствовал, простившись почти на тридцать лет с деревенским бытом и крестьянским трудом. Участник Великой Отечественной войны. После войны преподавал химию. А в 1955 году круто изменил свою жизнь и стал председателем колхоза в Островском районе. Более десяти лет успешно руководил хозяйством «Русь Советская». Но и с творчеством не расставался, издал несколько книг, основанных на изучении и переложении былинных сказаний, сочинял стихи, сказки, рассказы про русские народные творения. Член Союза писателей. Последние годы жил и работал в Костроме.

БОГАТЫРИ ПРИШЛИ В ДЕРЕВНЮ КЛЮЖИНО
(Из книги «Дела былинные»)

«Сорока-сорока, бела-белобока, по полю скакала, гостей гаркала: «Гоости, вы гости, идите кашу хлебати!» И тут сорока воду носила, кашу варила, гостей кормила: этому кашки, этому бражки, этому пивца, этому винца; а этот мальчик-с-пальчик — он мал-не-дорос, он воды не принес, он дров не рубил, он печь не топил — нет ему кашки, нет ему бражки, нет ему пивца, нет ему винца... А мальчик-с-пальчик — он не сел на диванчик, он бежит на работу, он толчет, и мелет, и во ступу сядет... Вода — на болоте, дрова — не коло-ты, мука — не молота, мутовка — на сосне, квашонка — на липке... А тут мальчик-с-пальчик схватил коробицу, побежал по водицу. Он хоть мал-не-дорос, а воды он принес, он мутовку сломил, он квашонку сдолбил, он дров наколол, он муки намолотил, он печь натопил, он каши наварил! Вот ему кашка, вот ему бражка, вот ему пивцо, вот ему винцо!»

Мамин своесказ этой присказульки самый лучший из всех иносказов, какие я когда-либо слыхивал-читывал-видывал. Правда, тот быт позабыт, квашонки из лип едва ли где долбят ныне.

Отец мой, тятя, был с виду суров, взглядом строг, а в речи вот любил усмешку, живинку и потешку. Летом он — пахарь, зимой — портной: ходил по деревням портняжкой, ездил портняжить ради заработка. А соседи-клюжинцы старые песни сохраняли еще в ту

пору всякие: и протяжные, и хороводные, и рождественские (святочные), да к тому — частушки. Заряд-запас и получился речевой-песне-вой-звуковой во мне. И теперь, когда я работаю над былинным стихом, я тот стих сверяю с клюжинскими песнями да припевами, частушками да прибаутками; когда хочу высказаться кореным русским высказом, и тот высказ ищу не за морем, а углубляюсь в себя и притихаю и тогда слышу из глубины душевной своей отцов голос, тятины слова. И душа моя наполняется радостью, а слово силой; когда я хочу пересказать сказку, я вспоминаю материны былички, мамины рассказёнки.

Книги «привели» богатырей на Ключино, витязей из былин, Я был тогда, как сказано, мал-не-дорос. А свои богатыри — клюжинские, а с ними и братья мои — они все на гражданской войне. Вот тогда-то и пришел ко мне из книг, из былин Илья Муромец, да Добрыня, да Алёша, да Вольга. Все из книг: былин клюжинцы уже не помнили.

Гражданская война. На полях бои да сраженья, в хозяйстве разуха: у народа хлеба нет, соли нет, керосину нет. Впрочем, клюжинцы не голодовали: хлеба не хватает, так картошкой добавляли и выхвалились: «Вятка — всем богатствам matka!» А какие богатства у вятича? А то, видно, важит, что вятский мужик — он на все руки мастер: он и швец, он и жнец и на дуде игрец, и на пушки, и на игрушки; ловко владеет и пилой, и топором, и ножом, и резцом, и долотом.

Итак, в гражданскую войну хлеб у нас еще был, хоть и в ту невеликую меру, чтоб не до жиру, а быть бы живу. А соли не было. А спичек не было. А керосину не было. Всякому люду без соли худо, а без хлеба и еще хуже. И потому старинной пословицей утешали себя клюжинцы: «Без хлеба — смерть! Без соли — смех!» Смех выходил и не очень веселый, но понимались и без соли. А вместо керосину жгли лучину. Огонь и без спичек приспособились выдувать из угольков. А курильщики высекали его из кремней. Так вот и жили, тянули жилы. А вятский мужик — на жилы-то он жилист: и тянется, да не рвется. А это ведь тоже диво: крестьянин может в черные дни, во невзгодицу, сам собой прожить — без хлеба не останется, ни без огня в холоде, ни без света в темноте. Огня выискрит из кремня, свету — из лучины да из свечей самодельных: из сала либо из воска. А клюжинцы еще и коптилки выучились делать из выдолбленной картошки — залиют их льняным маслом, опустят закрутичок-фитилек из кудели и — гори-гори ясно, чтобы не погасло. Я — с коптильничком, мальчишка над книжкой, а мать — с лучиной: прядет шерсть на чулки, на рукавички, прядет волокно на полотно, на штаны, на рубашки, на портянки...

Учительница из Ключинского училища Клавдия Васильевна дала мне однажды книжечку с былинами. Принес я ее домой, затопил печку в горнице. Дрова сухие, горят хорошо — сам я их с отцом напилел, из лесу навозил, а было мне тогда девять лет, а учился я во втором классе. Горят дрова жарко, светят ярко, пламя шумит, воздух гудит. Через поддувальце под дверцей свет снопиком вырывается на пол: растянись на полу и читай.

Вот и читаю былины я о богатырях. Нравится мне Вольга-богатырь. При одном только нарожденьи Вольгином вся вселенная всколыхнулась, земля встрепелась. Всколыхнуло и оваяло трепетом нарожденье Вольгино и мою девятилетнюю душу. Подумать только: хочет Вольгу матушка вертать-пеленать, на головушку колпачок надеть, а младенчик-то уже зычным голосом требует: «Ты не пеленай меня, матушка, в эти пеленочки шелковые! Ты не пояси меня, родимая, в эти пояса золоченые. Лучше ты, матушка, надень на меня доспехи-латы богатырские... На голову — богатырский шлем, в правую рученьку ты мне вложи палицу трехсотпудовую, в ноги — копые бурзамяцкое, в головы — седельшко черкасское!»

Еще больше завлекло в былинку меня Вольгино восхождение: много тайностей-мудростей захотел он узнать-перенять, и даже в синее небо за оболочку соколом-птицей залетывать, и щукою-рыбою в морях ходить, и волком рыскать по заполицам, и львом по лесам порыскивать. Восхотел он и своего добился — моему разуму на радость, душе на зависть: захотелось и мне, и не зверем в лесах, и не щукой в море, и птицей-соколом под небеса залетывать...

Вольга-богатырь в деле деятелен, в предприятиях-задумах своих неутомим. Поехала дружинишка Вольгина в лес лесовать, серых зайцев пострелять, зверюшей в сети половить. Да ловкости-расторопности у дружинничков не достало: вернулись все с пустыми руками. Рассердился Вольга на дружинишку, на двадцать девять богатырей, потому что сам он был «во тридцатых». Вышел Вольга Всеславьевич да и обернулся рыкучим львом, да и поскакал по лесным местам, по перелескам, по опушечкам, да и по трущобам, по прогалинам. Стал он зверье из лесов выгонять из потаенных, укрывных мест, в сети-силки заворачивать белок, куниц, да бобров, да лисиц, зайчиков, черных соболей, маленьких горностаюшков. Сети-силки и переполнились. Богатая ловитва была. А и на ловле-охоте за птицами опять все повторилось: дружина — без удачи, так Вольга удачен. И на лове в море — дружина без рыбы, а вмешайся Вольга — и готов богатый улов.

Для дела-работы, для лова-охоты, стало быть, надо было Вольге и соколом летать, и щукой плавать, и львом рыскать. А еще на войне Вольгино искусство-оборотничество сильно погодило...

НИКОЛАЙ ВОСТРОВ

Николай Никонович Востров родился 10 апреля 1925 года в деревне Болаболиха Шарьинского района Костромской области. В январе 1943 года был призван в армию. Участвовал в боях на Ленинградском фронте, ранен. Боевой путь закончил на Балтике, на острове Эзель.

После войны окончил Киевское Краснознаменное общевойсковое училище. Уволен в запас в 1954 году. Награжден четырьмя медалями. Почти тридцать лет работал столяром в леспромхозе. Первая книга вышла в 1967 году. Печатался в периодике. Автор трех книг: «Мои полномочия», «Минута молчания», «Местные мотивы». Живет в поселке Караваево.

СЫНУ

Хорошо бы ты не вспомнил,
Ну, а я-то вспомяну...
Шел я в светлый мир огромный,
А наткнулся на войну.

И дорога загудела:
«Где мои семнадцать лет?»
Вышла мать, белее мела,
Целовать сыновний след.

Выпал час, да не короткий.
У войны железный ход.
И понес я на пилотке
Нашу звездочку вперед.

Я понес ее на запад,
Где в траншеях все луга,
Под ногой хрустели лапы
В землю вмятого врага.

Остров Эзель... Там остались
Танков рваные бока
И родной уральской стали
Карабин фронтовика.

И теперь еще не знаю,
Почему живой стою...
Видно, дружба фронтовая
Сберегла меня в бою.

А друзей хороших, скромных
Сколько пало за войну!
...Хорошо бы сын не вспомнил,
Ну, а я-то вспомяну.

РЕДЕЕТ СТРОЙ

Не вижу мужеству предела,
Ко вкусу жалоб не привык,
Но вот шеренга поредела,
Твоя шеренга, фронтовик.

И дело вовсе не простое,
И думы наши не легки,
Выходят медленно из строя,
Прощаясь с ним, фронтовики.

Пуškai мы трусость отметали,
Пуškai мы к доблести впритык,
От орденов и от медалей
Не стал бессмертным фронтовик.

И все ж бессмертие — не мода,
Не байки — грозные полки.
Навеки в памяти народа
Фронтовики, фронтовики.

* * *

Что так сонно живем, что так вяло.
В эту сонь по привычке скорбя,
На себя, на себя одеяло,
Мешковину забот от себя.

Черт-те что под луною творится,
Что прикажет вселенская власть —
То ли в космосе нам раствориться,
То ли дома в безумие впасть.

Пробегаем межзвездные мили,
От Земли в лихорадке бежим,
Ближний космос уже захламили,
Угрожаем планетам чужим.

Подкатился всевидящий ящик.
Кто за курицу, кто за яйцо?
Дух болящий, кошмар настоящий,
В образах подставное лицо.

МИХАИЛ НОЛЬМАН
(1913 -1992)

Михаил Лазаревич Нольман (Н.Матвеев, псевдоним). Родился в Ярославле. Окончил Московский государственный педагогический институт имени В.И.Ленина в 1937 году, аспирантуру в 1940 году. Доктор филологических наук, профессор. Работал в Москве, Иванове, Красноярске. Был на Дальнем Востоке в ИТЛ МВД с 1944 по 1952 год. Участник Великой Отечественной войны.

Начало литературной деятельности в 1937 году. Критик, литературовед. Исследователь творчества Ш.Бодлера, А.Пушкина, Н.Некрасова и других писателей. С 1960 года — преподаватель, доцент, зав. кафедрой литературы, профессор Костромского Государственного педагогического института. Член Союза писателей. Успел завершить работу над рукописью книги «Поэзия и жизнь. Этюды о стихах Н.А.Некрасова». Один из этюдов представляем в этом сборнике.

ЛИРИЧЕСКИЙ НЕКРОЛОГ

Вспоминая друзей-соратников, которых «уносила борьба», Некрасов писал в одном из последних своих стихотворений:

Песни вещие их не допеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен.
«Скоро стану добычею тленья...», 1876.

Десятью годами ранее поэту виделись

Стоявшие бессменно предо мной
Великие, страдальческие тени,
О чьей судьбе так горько я рыдал,
На чьих гробах я преклонял колени
И клятвы мести грозно повторял.
«Ликует враг, молчит в недоуменье...», 1866.

Тяжелая, трагическая судьба лучших людей поколения, беззаветно служащих делу освобождения народа, глубоко волновала поэта. Ей он посвятил стихотворения «Памяти приятеля» (1853) и «В.Г.Белинский» (1855), «На смерть Шевченко» (1861), «Я покинул кладбище унылое...» (1861) и «Памяти Добролюбова» (1864), «Пророк. (Н. Г. Чернышевский)» (1874). К этому же циклу примыкает и стихотворение «Не рыдай так безумно над ним...» (1868).

Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым!
Беспощадная пошлость ни тени
Положить не успела на нем,
Становись перед ним на колени,
Украшай его кудри венком!..

По словам самого Некрасова, оно «навеемо смертью Писарева и посвящено М.А.Маркович¹¹, то есть писательнице Марко Вовчок — другу и гражданской жене замечательного критика-публициста.

«Писарев, — писал ей Некрасов, посылая свое стихотворение, — перенес тюрьму не дрогнув (нравственно) и, вероятно, так же встретил бы эту могилу, которая здесь разумеется; но ведь это исключение — покуда жизнь представляет более фактов противоположного свойства, и потому-то и моя мысль приняла такое направление».

Мысль поэта действительно движется в направлении «доказательства от противного». Оно задано уже первыми двумя строками, связанными между собою парной рифмой и выражающими, казалось бы, странную, парадоксальную мысль:

Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым!

Все дальнейшее служит развитию и обоснованию этой мысли, которая из словесного парадокса, затем еще раз повторенного («долговечность и слава — враги»), превращается в парадокс самой жизни, реальной действительности.

Речь, как видим, идет о «славе». Это слово употреблено в большом стихотворении четыре раза и дважды подразумевается («украшай его кудри венком!»¹¹, «русский гений издавна венчает Тех, которые мало живут»).

«Некрасов, — замечает С.Г.Бочаров, — использует знаки поэтической традиции, чтобы «увенчать» ими горестное событие. Но самое это событие, в конкретном его содержании, полемически не сливается с этой системой лирических знаков, со стилистическими оболочками, которых «издавна» требовала традиция. Поэтическое событие «переводится» на язык иной действительности, иного социального и исторического мироощущения; оно переводится на язык прозаически прямого, оголенного от традиционных оболочек, от «стиля» высказывания: «Хорошо умереть молодым!» Есть в этом утверждении, со сквозящей в нем горькой иронией, совершенно новый для темы надрыв — некрасовский, вызванный совершенно новыми обстоятельствами ранней смерти и жертвы (революционная жертвенность 60-х годов). Эти обстоятельства в их тяжелой прозаической конкретности входят в некрасовское объяснение, отчего лучше не жить долго: не оттого вообще, что молодость — поэтический миг, сменяющийся (у Дельвига) «сном душ», но оттого, что трудно не ослабеть, не сломиться в борьбе, «перед дверью тюрьмы и могилы».

В стихотворении Некрасова дан социально-психологический анализ трудных путей служения народу и обретения его признания. Потому что основание славы — не только духовное наследство, оставленное человеком, но и жизненная позиция, нравственная высота, удерживать которую — тоже подвиг. Против нее — и «беспощадная пошлость» обыденной жизни с суетой и мелочностью (вспомним «тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей» в «Рыцаре на час»), и недостаток твердости, решимости, последовательности, что ведет к вольной или невольной сдаче позиций, отсюда горькое напоминание; «Вспомни, сколько пали в борьбе, Сколько раз уже было тебе За великое имя обидно». Отметим важность контекста: слово «обидно» определяет нетрадиционный, осуждающий смысл выражения: «пали в борьбе» (ср.: «Смолкли честные, доблестно павшие..», 1877).

Положительная характеристика героя стихотворения создается на Фоне «фактов противоположного свойства», через их отвержение. Отсюда обилие отрицаний: «не успела», «не стыдно», «не наложат», «не хочу сказать, что не был». Сложный, опосредствованный ход мысли проявляется в сложности синтаксических конструкций. Особо следует выделить двойное «но» в двух смежных четверостишиях, представляющих собою сложные, распространенные предложения, начинающиеся одним и тем же противительным союзом «но» (второе «но» как бы «входит» в первое).

В отличие от «Рыцаря на час» и ответа «Неизвестному другу» в данном стихотворении личность поэта непосредственно почти не проявляется (местоимение «я» употреблено всего один раз). Лиризм стихотворения в ином — в чувстве сопричастности «воспеваемому предмету», в соотнесенности судеб героя и автора. «Та нравственная гибель, от которой преждевременная смерть уберегла прекрасного человека и которая в действительности исковеркала многих прекрасных людей, не отделена от возможной авторской судьбы», — отметил Б.О.Корман. И герой, и адресат стихотворения духовно близки автору. Они — единомышленники, бойцы одного «стана» — стана «народных заступников». Это раскрыто выразительными штрихами: борьба, любовь к ближнему, жертва, спасающая людей, тюрьма, друг и брат несчастных. О том же — венчающая стихотворение итоговая народная оценка («народ замечает») событий, о которых идет речь.

Современный Некрасову поэт-демократ Василий Курочкин писал в стихотворении «На могиле Д.И.Писарева» (1868):

Усопший брат! Мир памяти твоей.
Увы! Ты жил, как Добролюбов, мало.
Ты чист, как он; зерна твоих идей
Не подточило опытности жало.
Мы видели, как старились умы
И как сердца прекрасные скудели.
Поклонимся ж могиле ранней мы -
Созревшие для неизвестной цели.

Исследователь лирики Некрасова Н.Н.Скатов замечает по поводу этих строк: «Здесь есть очень личные ноты. Произнесены горькие слова об идеях, подточенных «опытности жалом», о цели «неизвестной». Это не о Писареве, это о себе. Стихи Курочкина сближались с некрасовскими стихами на смерть Писарева «Не рыдай так безумно над ним...» Важно отметить, однако, как естественно и закономерно в самой горечи и скорби опирается Некрасов на формулу народной поэзии, народного миропонимания... Так, при всем сходстве по сути стихотворение Некрасова противостоит стихотворению Курочкина».

В стихотворении «Не рыдай так безумно над ним...» — и это характерно для всей лирики Некрасова — «гамма новых чувств, созданных внедрением социально-аналитического начала в эмоцию; скорбь, пропитанная пониманием, восхищение, сомкнувшееся с горькой думой, отрада, источающая печаль» (Б.Корман).

В лирике Некрасова с предельной глубиной и достоверностью отражен драматический путь к выстраданному нравственно-эстетическому идеалу человека, поэта, борца.

АЛЕКСЕЙ РУМЯНЦЕВ
(1912-1975)

Алексей Федорович Румянцев родился в д. Аниково Судиславского района Костромской губернии в крестьянской семье. Учился в Костромской школе-коммуне. В годы учебы печатался в «Северной правде». Под романтическим настроением и по воле времени много ездил по стране. Работал грузчиком, токарем, избачем, архивистом. Работая архивистом в родной Костроме испытал интерес к документам, хранящим факты жизни, которые становятся штрихами истории. Не тогда ли и зародился замысел написать на основе собственных исследований повесть «Я видел Сусанина»? Участник Великой Отечественной войны. После войны учительствовал в сельских школах, заочно окончил учительский институт, затем — три курса педагогического института. С 1954 года плодотворно занимался литературной работой. Автор нескольких книг для детей, рассказов на документальной основе. Член Союза писателей.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Глава из книги «Я видел Сусанина»

В тех же числах Иван Сусанин, раскованный и выпущенный из амбара, затребован был в Кострому, к пожаловавшему туда великому владыке. И что-то быстрехонько обернул дед в Домнино. Приехал от могущественного митрополита на третьи сутки в полном смятении, будто ошарашенный, от расспросов отмахивался, к избенке своей шел молчун-молчуном.

Да укроешь ли что от любопытных ушей в небольшой деревеньке? В ночь на Ивана Постного староста заявился, а наутро его дочь Антонидка перешепнулась у двора с Дуняткой-Огоньком, подругой сердечной; Дунятка тотчас порхнула к бабке Секлетее в Нестерово, бабуля, вестимо, к ближней куме Лукерье-Задворенке, а уж Задворенка, разумеется, к своим ближним и не так чтобы ближним... Словом, к полудню все Поречье, все романовские деревеньки по Шаче бурлили новостью :

— Акинф-приказчик ссажен владыкой!

— Карать-пытать за лесных беглых больше не будут. А нашего старосту Ивана поставили ныне...

Да такое высказывали тут шепотком, что ахи-охи не затихали окрест:

— Ой, верно ли, паря?
— Правда, слышь. Дело не шутейное!
— Лиходеев от нас отставить хотят. Староста Иван будет-ча порядок блюсти.

И хотя Сусанин, все же находясь в столбняке, ни с кем, кроме как с хворой женой, не перемолвился о встрече в Костроме, бабуликушки уже заплетали трогательные истории про ангельскую кротость смиренного Филарета, про милосердие Ростовского отца-владыки к люду бедному, подневольному:

— Господь указал ему путь благочестия.

...А дело объяснялось довольно просто. Как перед ураганом неизбежны какие-то минуты зловещей тишины, так и в те сентябрьские дни 1608 года стояло в нашем Поволжье нечто вроде предгрозя. Филарету Романову надо было решить непростую задачу. Василия Шуйского, соперника своего, он презрительно вычеркивал из игры: скуден умишком, недалек царь. В силы бояр-спесивцев не верил — давно знал им цену. Лжедмитрий Второй, укрепившийся лагерем в Тушине, в семнадцать верстах от столицы, — вот кто был новой лошадкой в новой игре Филарета. Вот кто отныне занимал его ум! Конечно же, второй самозванец лопнет, како и первый, конечно же, судьба обоих царьков-оборотней одинакова. Но и не считаться с «черной лошадицей» теперь, в сию тревожную пору, было бы явным просчетом. Ведь за подставным «царьком» стоят все те же паны-иноземцы, кои вознесли Романовых, кои освободили их, избавили от кар Годунова.

А сколько у самозванца свежих сил! Изменив Шуйскому, бегут к нему казачьи войска. И бояре, что похитрее, льнут снова — недаром приезжал приноживаться брат Иван... И беглая голытьба, и крестьянство, и черный посадский люд за беглыми. Все ждут вольного ветра, все надеются. Царь-вожак нужен простонародью, вот кто! А кто окажется вожаком — это им не так уж и важно. Лишь бы вел супротив бояр, супротив боярского правительства — тогда хоть за лохматым нечистиком, за беспятым, прости господи, народ хлынет... Да како же дать маху? Как не считаться тут с настроением черни священнейшему митрополиту?

Ведь и Акинфия он убрал из Домнина отнюдь неспроста. Этот Акинфий — вепрь хищный — ладно ему послужил и послужит еще, ох, верно послужит! Но ветер пока не тот. Зажми благородный свой нос, а к черни приглядывайся: пусть она, чернь вонючая, учится изпод твоей руки смотреть.

Ведь как всегда бывает перед грозой? Дельный хозяин сам оглядит хозяйство и двор: там приберет, чтоб не сорвало, здесь поукрепит да укрепит, наперед загадывая... А владыке простительно ль

жить без загадов? Вот уберет он, скажем, лютого вепря-приказчика, простым лапотником заменит его на время — и чернь в ноги к тебе же падет! Убыток вотчине? Пусть! Надо идти и на это: пусть уж Сусанин-староста тешит пока смутьянов.

— А там видно будет. Перестоять грозу — вот главное.

Таков был расчет священнейшего. Хитрейший расчет, ничего не скажешь. Похожий на ту сеть, в которую удачливо идет рыба.

И бабки-шептухи, бабки-задворенки разнесли вскоре молвь:

— Праведник он, великий владыка наш. С простым человеком, с нами великий господин...

Чем худо для Ростовского владыки? Не о том ли заботился он, когда в Костроме, в саду Ипатьевского монастыря уединенно беседовал с Иваном Сусаниным да еще просил сохранить беседу втайне? О-о, тут есть о чем нам догадываться!

По-своему рассуждал мужик-тугодум:

— Ин ладно, робяты: стоит усадьба. Ладно и царь Шуйский: терпели и еще стерпим, шут с ним. Только для ча порядок такой — за горло рвать? Барщиной меня душат, оброком меня душат, и денежные поборы дай. Это сколько же шкур я должен иметь, чтобы каждому брюхачу потрафить?!

А потом шли мечты:

— Эх, запалить бы усадьбишку ясным огнем да в тот огонь все крепостные записи пошвырять... Да барина, да воеводу с дьяками — в огонь заодно. Дожде-етесь, поджарим вас, черти брюхатые! Только бы царь новый, царь праведный скорей появился.

— Идет, слышь-ка, избавитель наш с запольных земель.

— Знаем: поднялся, заступник, на бояр с Шуйским! Ужо спросим получше Яшуху — Рыжего Уса: в деревню с болота Якун придем непременно.

Так размышляли домнинцы перед великой грозой. И дед Иван заодно с ними думал нелегкую думу.



ВАСИЛИЙ БОЧАРНИКОВ
(1921 -1994)

Василий Алексеевич Бочарников родился 11 января 1921 года в с.Бородачи Сталинградской области в крестьянской семье. Учился в Мурманском политико-просветительном техникуме. Работал в молодежной газете «Комсомолец Заполярья». Участник Великой Отечественной войны. Ранен. Имел правительственные награды. В 1954 году окончил Ярославскую партийную школу. С 1964 года жил в Костроме, работал редактором радиовещания на льнокомбинате имени Ленина. Активно сотрудничал в центральной и местной печати как прозаик и поэт, особенно часто печатался в газете «Правда», в журналах для детей. Мастер коротких лирических новелл о природе. Книги рассказов и повестей печатались в Ярославле, Москве, Ленинграде. Несколько рассказов переведены на языки других народов.

НА РЕКЕ

Рассказ

(Из книги «Поклон ржаному полю»)

Солнце... Солнце щедрое, отрадное, веселое — июльское. Вся река залита им, только там, где над берегами густо, пышно нависают ивняки, холодок.

Второй раз я в этой лесной деревеньке. И прошлым летом по заданию редакции приезжал сюда к бывшему командиру «катюши», известному на всю округу трактористу Леониду Парамоновичу Живицину, хотел писать о нем.

Не повезло.

— Некогда, некогда! —отмахнулся тогда он. — Ксовица.

Я и так и так подступался к нему, все попусту.

Живицин хитрец — и нынче хотел было той же тактикой провести меня, мол, сенокос, каждая минута дорога... Тут уж и я не сплеховал: выпросил у него косу, и вот со всеми деревенскими хожу на Стариков луг.

Разомленная теплом, лениво струится родниковая речка Покша.

Степка и Женька приморились, легли на песок. Живицин, подняв руки, по-бабьи, настороженно забредает и останавливается, и стоит, не решаясь окунуться, как только у него терпения хватает!

—О-ох! — вдруг вскрикивает он.— Саданул шельмец в ногу, как стрелой. Окунишко, понимаете, — он пригоршней черпает воду и оплескивает лицо. Взлетают малиновые брызги. — Этот окуниш-

ко напомнил мне, — Живицин поливает грудь и плечи, — напомнил мне фронтовое купание. Помнится, летом сорок третьего года на Северном Донце...

— На Северном Донце? — переспрашиваю я и поднимаюсь рывком.

— На Северном Донце, а что? — Живицин зажимает нос и кулем идет в воду, где стоял.

А я жду. Как долго он сидит — уж не две ли минуты! Вот морж. И вовсе он не боится воды, а купается со вкусом, блаженствуя. Вынырнул, тряхнул мокрыми волосами. Не замечает моего волнения, продолжает: — Фрицы бухнут мину, а ты в воде, тут, братцы, и поймаешь, отчего рыба глохнет и со спины на брюхо опрокидывается.

Степка с Женькой нырк, нырк и кружат около Живицина. Шурка и Сонька придерживают шестами лодку — не пропустить бы мимо ушей заветное слово: о войне ведь!

— Ты был ниже Святых Гор или выше Святых Гор?

— Выше... Почти у ложной переправы...

— Леня-я! — я кинулся в воду и обхватил мокрые плечи Живицина, — Леня! Так это же мои саперы ту самую ложную переправу сварганили. Помнишь? На канатах? Метров на двести выше, помнишь? Мы поставили живую... настоящую переправу, спрятав ее в воде. На полметра. Машины с боеприпасами идут, повозки, кухни, пушки везут, пехота шлепает. Движение что надо, ну, помнишь? А выше в скале штаб корпуса, а по правому берегу, под горой, кухни дымят. Помнишь?

— Мост погрузили в воду? — удивился Шурка. — А зачем?

— Затем, браток, чтобы фашистским летчикам сверху не был он виден, — отвечал за меня Живицин. — Ложную обманную переправу вали, засыпай бомбами. По ней никто не ездит и не ходит. А нужно видимость дать, что она работает. И хитрые саперы, — Леонид кивнул на меня, — значит, для близира выставили на плоты разбитую машину, повозку... что там еще?

— Деревянные пушки, фанерный танк, ящики из-под снарядов...

— «Юнкерсы», «хейнкеля», «мессершмитты» прямо-таки измывались над этой переправой, а мы хохочем, даже если попадали в цель. А бывало и так: саперы нарочно в разгар, бомбежки отвязнут трос на одной стороне, переправа и поплывет, и задымит, а эта сами саперы подкинут дымовую шашку. Фашист — еще заход, значит, фотографирует, доволен, можно доложить начальству: так, мол, и так, стратегический мост русских на реке Северный Донец изничтожен. Поплыл, горит, капут мосту. А что дальше? Расскажи им, сапер.

Я был потрясен! Ложная переправа на Северном Донце — крупинка войны. Мог ли думать, что встречу человека, которому памятна, как и мне и моим друзьям-саперам, эта самая ложная переправа?! И этот самый человек, возможно, видевший меня при бомбежках, отправил меня, журналиста, ни с чем и заставил, сам того не зная, вернуться в его деревню Живицино еще раз!

Нет, я не жалел об этом. Я рад, что именно так все случилось, и теперь для меня Живицино — не только Леонид Парамонович, но и бабка Манефа, и Шурка, и Степка, все ребята, и Шляпок. И не будь северной деревеньки, не вернись я сюда, в моей жизни чего-то не хватало бы.

— Что же ты стоишь, как контуженный! — напомнил Живицин. — Рассказывай.

— Дальше что? Подтягивали переправу, заменяли раскиданные и покореженные бомбами звенья плотов и опять чалили к мёртвякам-столбам, вкопанным в землю. А бомбили люто. Особенно из-за вас, «катюш». Вы-то отстреляетесь — и покатили заправляться, чай распивать. А огневую позицию вашу тут же засекли, и прут бомбовозы, и орудия немецкие меняют прицел, и минометы, глядишь, «нашупали» — именно тут стояла «катюша», да след ее простыл, по горячему местечку лупят да лупят, а как ошибутся — по саперам долбают: земля в небо, солнце закрыто, дышать нечем.

— Было-о, было-о, — соглашается Живицин, переливая из ладони в ладонь струю. — Тебе, думаю, за настоящую и ложную переправы на Северном Донце орден дали?

— И орден, и осколок в плечо, — усмехнулся я.

— Ясно, чтобы памятной было... Давайте купаться.

— Давайте, — соглашаюсь я, ныряю раз за разом и никак не могу остыть от воспоминаний...

...Живицин — крупный, грузный, а плавает, как тюлень, так и раздвигает загорелым плечом, так и ввертывается в воду, пофыркивает, пошлепывает широченной ладонью, повертывается с боку на бок, с живота на спину.

В высоком небе острым осколком зеркала сверкнул реактивный самолет. Сверкнул и пропал, и только тогда волочившийся за ним звук сильно, раскатисто колыхнул леса и реку и перекинулся за увал.

Живицин вылез на берег первым, растянулся на песке. Против его головы — голова Шурки, не растерялся, лучшее местечко отхватил, рядышком с трактористом Сонька, а по правое плечо Степка и Женька, волосы у дружков прилизаны водой.

— Дядь Лень, Расскажи, как ты стал командиром «катюши»? — просит Шурка.

— И про Сталинград... — поспешно добавляет Сонька.

Живицин вздыхает.

— Расскажи... На Северном Донце я уже, можно сказать, был стреляный воробей. А начинал с пекла — со Сталинграда. Квитался с нами враг за разгром под Москвой и далеконыко в наши земли вполз. Вся страна — от трехгодовалого мальчика до деда-борода — одного желала: остановить! Остановить врага!

Было мне в ту пору неполных восемнадцать годов. А точнее сказать, семнадцать годов и два месяца. Раздувал мехи, махал кувалдой в колхозной кузне. Два побега на фронт. Вертали. И я уже считал себя неудачником, обиженным судьбой. Тут объявили комсомольский набор. Да не простой — хочешь воевать, иди воюй, а особый. Вот чем, откроюсь, особый: знаешь технику — берут, нет — иди пока в колхоз, пособляй фронту трудом.

Повестка. Прямо из кузни подался я в военкомат. И от меня дымом, от меня копотью, от меня металлом — втянул тощий военком сложный кузнечный запах, ждал — заворотит, ан — нет, потеплел вдруг взгляд у неулыбы. «Вот ты мне и нужен, дружок», — будто сказал тот взгляд. И писарю строго: «Пиши; Живицин Леонид...»

Есть слова, как вода: лей и лей, сколько хочешь, не волнуют, и нисколько их не жалко. А есть, есть слово-магнит. Тянет. Зовет. Будоражит. Тайну обещает. Как бы переворачивает тебя то самое слово-магнит. Ну-ка, колхозному парню сказать такое: «Едешь на спецкурсы!» Замагнитили Живицина, взбудоражили слова эти, и не передать как! «Спецкурсы» — тайна. И вслух громко не высказать, а только шепотом да про себя: «Спецкурсы!» Необычность.

Летит, вихрится мысль, горячо в голове. Чего-чего только не передумал под колесный перестук товарняка: выучат на парашютиста-десантника, темью, полуночной темью завезут и скинут с самолета в Германии, в фашистском государстве, с приказом — взорвать танковый завод, или — в партизанский отряд подрывником, или доверят — комсомолец, почему бы и не доверить! — новый могучий танк.

Вот так-то, други мои: гадал, прикидывал, а мыслишка греет, вселяет надежду — на «спецкурсы» везут. Не миновать фронта, ясно, а это самое главное. Даеть «спецкурсы!».

И не угадал, братцы. Да и как угадать! Стою перед... «катюшей». Живой, настоящей «катюшей». Остолбенел. Верю и не верю. Оторопь берет... ведь «катюша» же перед тобою, гроза фашистов и наша русская гордость!

Верю! Как не будешь верить, когда сам обряжаешь «катюшу». Собственными руками протирал наводящие рельсы — по ним снаряд берет разбег и выводится на заветную цель. Рельс — два этажа.

Что это значит? А вот, други, что: один этаж — восемь снарядов, второй этаж — ему не уступает — тоже восемь снарядов. На нашем языке, на языке ракетчиков, это называлось, когда установка заряжена полностью, шестнадцатью снарядами: «катюша» с полным «пакетом». Ну-ко фашисту доставит такой пакет. Так-то... Каждый снаряд — сорок восемь килограммов, и такая силища, скажу вам, запрятана в нем, что даст по танку, как яичко хрустнет, любое укрепление разнесет-размечет, на воздух поднимет.

«Спецкурсы». В четыре глаза гляжу, в три головы запоминаю. Сбоку «катюши», значит, винт подъема, им опускаются и поднимаются наводящие рельсы. Теперь, как же лучше прицелиться? Направление, высота и дальность полета реактивного снаряда определяются по особому артиллерийскому инструменту, буссолью называется. И как выезжать на огневой рубеж, и как лучше выискать его, и как стрелять — все умею. «Катюша» на трехосной машине размещена — по заслуге, братцы, честь. По заслуге. Кто ее не знает, на каком языке не выговаривалось ее имя: и «катюша», и «катуш», и «катрин», и «кэтрин»... Нет, и представить не могу войну эту страшную, чтобы мы, русские, и — без «катюши»! И танки с паучиной свастикой жгла, и озверевшую пехоту вражескую клала наповал, и любые доты и дзоты там разметала в пух и прах.

— Как же стреляют, дядя Лень? — подал голос Шурка.

— Дойдем, — успокоил его Живицин.

В боевом расчете «катюши», кроме меня, командира, наводчик, два заряжающих и шофер. Вот мы и заряжаем ее, и закапываем в землю — въезжает она в открытую нами покату юмяну, как в гараж. И зачехляем, и маскируем... «Катюша» на огневой позиции. Все просмотрено, все проверено. Открываю дверцу машины, усаживаюсь прочнее с шофером, и передо мной — вот он, гляди, крестынский сын Живицин, и пусть не дрогнет твоя рука, — пульт управления. Приняты координаты, определены цель, дальность и высота полета снаряда. Пульт управления для стрельбы. И завершается все так: крутнешь ручку с деревянной рукояткой по ходу часовой стрелки и выдашь то, что подобно грому и молнии или землетрясению. Получай, фашистская сволота!

Как поверну ручку с рукояткой на полный оборот — летят два снаряда. Еще поворот, еще два снаряда. За восемь кругов выдаю полный «катюшин» «пакет», и на всю стрельбу уходит сорок — пятьдесят секунд. На моем пульте управления есть риска, деление. Доведу ручку до риски — и летят снаряд. Можно и одним снарядом из «катюши» выстрелить. А дальность? Стрелял и на десять, и на двенадцать километров. А случалось, и на один километр, — Живицин потер подбородок. И продолжал:

— Учили нас, разумеется, на одной боевой «катюше» и наско-ро — немец ломился к Сталинграду, а соберут, бывало, на поверку вечернюю, крикнет гвардии старшина: «Спецкурсы, по порядку номеров, рrrrrрчитайсь!», и лихой скороговоркой полетит: «Пер-вый... четвертый (четвертый — это я, стою на правом фланге)... две-надцатый, сорок третий... и — последний, Колька Кишов, коротыш, а режет шалыпинским басом — сто двадцать шестой!..»

Сто двадцать шесть. Подумаешь и возрадуешься: ведь это же сто двадцать шесть будущих «катюш»! Буря! Эти ребятки дадут при-курить фашисту!

И хотя «спецкурсы» — тайна из тайн, но страшно хочется, что я был тогда — семнадцать с коротким хвостиком, похвалиться-по-гордиться перед мамой, перед брательником, перед сестренкой, и, конечно, перед зазновой. Настенькой своей, что доверили мне «ка-тюшу», — вот каким знаменитым и могучим оружием воевать бу-дет сын и брат на фронтах Великой Отечественной войны. Но... но... как напишешь про это в письме-треугольнике — строго-настрого заказано! Ломаю голову, прикидываю и пишу с намеком: так, мол, и так, любезные и дорогие мои, женился я на Кате и очень этому рад и счастлив. Скоро мы с нею, моей законной боевой подругой и суп-ругой, поедem бить фашистов. Она очень славная дивчина, меня слушается во всем, и я ей отдаю всего себя и трафлю ей. Согласие у нас и гвардейский порядок.

А в конце: Настеньке от меня сердечный привет, пусть ждет и ни о чем не беспокоится.

Домашние письму-весточке, с одной стороны, значит, рады, а с другой — ну, ничегошеньки не поняли и приняли все, как гово-рится, за чистую монету: женился сын. Война крутит-метет, а он, своевольник, женился. И мало самому — жену свою Катю на фронт тянет, в боевые подруги. И от имени матери наистрожайший выго-вор: коли женился, топорище осиновое, так чего же ты Настеньке привет шлешь и велишь ждать. Выходит, насмехаешься над нею...

И сестренкина приписка: Леня, пришли фотографию своей боевой подруги Кати. Чего дуреха захотела! Ха-ха-ха...

Одним словом, заварил кашу. Себе на голову безвинную... Аж на третьем или на четвертом письме раскумекали-таки мои домаш-ние, сами или кто помог — того не знал, и после все, и Настенька в том числе, слали приветы до конца войны мне и жене моей Кате, пока не развелся с нею на законном основании.

Живицин замолчал, подгрeб'к раненому боку горячего песоч-ка. Покурил и продолжал: — Избенка там загорится^ либо худень-кий сараишко, и то, глядишь^ ды-мища накрутит, нагонит: и кашля-ешь, и слеза. А тут... Сталинград горит — город километров на ше-

стыдятся по Волге. Горит, полыхает, а его не тушат. Не тушат, а еще добавляют в огонь огня: бомбят волна за волной бомбовозы, молотят снарядами да минами с утра до вечера, с вечера до утра, посыпают из пулеметов и автоматов. И вместе с дымом и гарью клубится, висит в воздухе земля.

Нет живого места в городе. И дышать нечем.

А наши врылись в землю, и сколько ни пробовал немец, не смог спихнуть в Волгу. Нашла коса на камень.

Бой может длиться и полчаса, и час, и сутки, и даже неделю — смотря какой бой. А в Сталинграде мы потеряли счет часам и суткам. Все бой, бой и бой, кровавый, страшный, жестокий. Обе стороны поняли, тут, на волжском берегу, решается: кто — кого. Тут!

Вот наш, стало быть, дивизион «катюш» и двинули на Сталинград.

Капитан Николай Веденеев, мой командир батареи, на политече как-то сказал: «Ждут нас на фронте. Так ждут!..»

Глянули мы на Сталинград, разбитый, горящий, зашло сердце, и поняли: тут уж нужно сражаться, так сражаться!

— «Катюши» приехали!.. «Катюши» приехали! — спекшими губами приветствовали нас бойцы. И просили:

— Сыграйте им, так, чтобы тошно было!

— Сыграйте так, чтоб в Берлине слышали!

Просят — не откажешь!

И с ходу — в бой.

Воронка на воронке, окоп на окопе, а мы спешно гоним на огневую позицию. Поставил я свою «катюшу» под кособорчником, чтоб, значит, не мозолила чужие глаза. Дымище, грохот. Снаряды рвутся, мины повизгивают. Чуть поодаль меня — Колька Кишов, у него как и у меня, машина тоже расчехлена и повёрнута лицом к врагу.

Ждем команды. Мы не пушкари, без команды не стреляем. Вижу: идет раненый в руку. Бинт намотан поверх гимнастерки, алое пятно крови проступило. Рослые бойцы в касках рысцой тащат на плечах длинные, как жерди, противотанковые ружья. На склоне горы, надрываясь, лупит и лупит наша пушка.

Начальник штаба дивизиона «катюш» майор Барышев с КП дивизии перевел по радиации координаты — стрелять по танкам и пехоте. Только перенес координаты, только по буссоли настроили «катюшу», и тут же:

— Орудие номер два сержанта Живицина, на огневой рубеж! — голос у комбата Веденева зычен, лих.

— Есть! — доложил я и чуток подвинул машину вправо.

— Орудие номер два-а... — не узнаю, братцы, своего голоса, какой-то хрипловатый, и во рту пересохло, — к бою готово! — А

сам еще разик, никогда нелишне проверить себя, скользнул глазом по пульта управления. Ну, боевая подружка, давай врежем! Постарайся, милая Катя!

— Вос-ей... установк-ой — огонь! — выкрикнул капитан Веденеев.

Правая рука коснулась крашеной рукоятки. Волнуясь, крутнул ручку на полный оборот. Еще раз. Еще... Я знал, что произойдет. И не только знал, я хотел, чтобы это произошло. Машина, как живая, вздрогнула, и раздалось знакомое и памятное всем фронтовикам: «Ур-р-ррр. Ур-ур-ррр» — и грохот. И снова кручу ручку пульта управления на полные обороты. В широкую буйную разноголосицу сталинградского боя резко, хлестко врезался голос и нашей «катюши». Машину обволокло пылью.

— На заправку! — сказал я своему шоферу, прислушиваясь. А прислушивался я к разрывам. И грянуло обвалисто — сильнее бомб, сильнее снарядов и мин. И Колька Кишов выпалил.

Развернулись, и я увидел сивое облако пыли.

— Цель накрыта, Живицин!

До чего приятен голос у командира батареи капитана Веденеева.

После этого первого удачливого выстрела столько раз выходил на огневой рубеж, что и счет потерял. Днем в таком аду, как в Сталинграде, и то не сразу сообразишь, куда ехать. А ночью? Фары не зажжешь. Попробуй засвети, немец так даст, что и костей не соберешь. И ездили. И точно выходили на огневую позицию. И гробили фашистов.

— А ранило как? — спросила Сонька.

— В Сталинграде. Совсем, можно сказать, неинтересно. Отстреливались. И вели «катюшу» на новую заправку. А висела над передовой «рама» — самолет у немцев. Она и указала батареям, где наша «катюша».

Как дадут, дадут из минометов и пушек. Всё по нам. И одна мина грохнулась рядышком с нашей машиной, В ногу мне, как топором, врубили,

— Ранен? — кричит шофер. И тормозит, чтобы, значит, перевязать меня.

— Да гони ты, гони машину! — кричу, а сам зажал ладонью рану, да так и не отхватился до самого медсанбата. И только отскочили от места, где ранило меня, — разрывов пять-шесть. Досталось бы «катюше». Рана вроде, пустячная оказалась, наскоро вылечился.

— А вот и не так, — уличила Живицина Сонька, — тебя, дядя Леня, доставили в медсанбат, а из медсанбата отправили в тыловой

госпиталь, а ты вместо госпиталя сбег к себе в часть и сказал: «Никуда я от своей «катюши» не уеду».

Мы засмеялись, а Сонька обиделась:

— Правда, сама тетя Настя рассказывала.

— Глянь-кося, она лучше меня знает! — притворно-шутливо изумился Живицин. — Может, твоя тетя Настя и в Сталинграде воевала, а я нет? Как?..

Но Сонька к удивлению Шурки не отступала.

— Тетя Настя показывала нам, красным следопытам школы (а ты, Шурка, тогда наглотался первого снега, больно жаден, и болел ангиой), все-все твои ордена, медали и фотографии. На одной ты стоишь рядышком с «катюшей» в гимнастерке с орденами и медалями, в сапогах и пилотке, а из-под пилотки большущий, — Сонька выпучила глаза, — чуб и справки о ранениях тетя Настя показывала. В сталинградской справке (я запомнила) сказано: ранение тяжелое. Вот!..

Живицин добродушно усмехнулся:

— Готовилась, вижу, к атаке. И задорна и проворна. А? Сонька? Сообразительный Степка перевел разговор в нужное русло:

— А на чужой земле, дядя Леня, какой бой запомнился?

— Было, друг, этих боев и в Румынии, и в Югославии, и в Венгрии, и в Австрии! Ну какой? Ну вот этот. Под Веной в леске скопище фашистских танков — донесла воздушная разведка. Нам, конечно, сразу задачу: накрыть. Вывели на огневой рубеж двенадцать «катюш» и ахнули. Запылал лесок. Сплошной огонь. Что же оказалось? А вот что после оказалось: одним залпом накрыли семьдесят танков.

— Ни один не улизнул? — привскочил Шурка.

— Ни один!

— Ого-го! — поразился Шурка.

— По-одъем! — неожиданно властно, лучась карими глазами, скомандовал Живицин.

И первым поднялся.

— Закругляй п-перерыв. Пора на луг. А то как бы без нас не смахнули Стариков луг. Как, Шурка? Как, Сонька?

— Не-е, дядь Леня, без тебя не выкосят. Кто ж трактор поведет? — сметая с живота песчинки, сказала догадливая Сонька.

— Мы переглянулись с Живициным.

9 МАЯ 1945 ГОДА

Забуду ли день тот — девятое мая...
От Дрездена к Праге дорога прямая.
В колоннах — ни смеха, ни песен, ни плясок.
Лишь ливневый пот из-под скаток и касок.
Да пыль над дорогой, да Рудные горы,
Да в сердце тревога, да горький ком в горле...
Хотелось умыться, напиться, свалиться,
От крови, от шума и грома забыться.
Помыть гимнастерки, пилотки, портянки,
Увидеть подснежник в лесу на полянке.
Услышать кукушку в березовом дыме.
И дома побыть хоть немного с родными...
А видеть пришлось нам другие картины:
Колочие концлагерей паутины.
Да пепел, да свастики темные меты.
Людей полутрупы и полускелеты.
Да смрад, да зловонье, да виселиц петли...
Мы были, как в морге, как в огненном пекле...
Из Буя, Кадыя, из Кинешмы, Решмы
Солдаты России, святые и грешные,
Мы с мира счищали фашистскую плесень.
Нам было в тот солнечный день не до песен.



Содержание

От составителя	
ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ.....	3
ЮРИЙ БАРАНОВ	
Сегодня они берут Барселону	5
Ой, какие светлые дали	5
Под ногами клонятся травы	6
АЛЕКСАНДР АЛЕШИН	
Прошлое стучится в сердце	7
МИХАИЛ БАЗАНКОВ	
По праву памяти и долга	12
ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ	
Под Москвой	15
АЛЕКСАНДР ЧАСОВНИКОВ	
Юрий Смирнов	23
ЕВГЕНИЙ СТАРШИНОВ	
Прорыв	31
ЕВГЕНИЙ ОСЕТРОВ	
«А нужна, больна мне родина...»	37
ВЛАДИМИР КОНДРАШОВ	
Человек №21001	41
ВИКТОР ВОЛКОВ	
Радость невозвратная моя	45
С КП приказ	45
С тех пор	46
Нет орудийных канонад	46
АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ	
«Смерти я не боялся»	48
ВИКТОР РОЗОВ	
«Спасибо людям...»	55

НИКОЛАИ АЛЁШИН	
Памятник	59
НИКОЛАЙ КОЛОТИЛОВ	
Давай потолкуем	63
Строгие вопросы	64
ЮРИЙ ГРИБОВ	
Партизанская база	66
ВИКТОР ХОХЛОВ	
В час испытаний	71
СЕРГЕЙ МАРКОВ	
Русская речь	77
На дне походного мешка	77
Грозная весна	79
ВИТАЛИЙ ПАШИН	
Катюша	80
ВЯЧЕСЛАВ СМИРНОВ	
Наш «Веселый экипаж»	83
Стихи в обойме, как патроны	85
ВАСИЛИЙ СТАРОСТИН	
Богатыри пришли в деревню Ключино	88
НИКОЛАЙ ВОСТРОВ	
Сыну	91
Редееет строй	92
Что так сонно живем	92
МИХАИЛ НОЛЬМАН	
Лирический некролог	93
АЛЕКСЕЙ РУМЯНЦЕВ	
Перед грозой	97
ВАСИЛИЙ БОЧАРНИКОВ	
На реке	100
ЕВГЕНИЙ СТАРШИНОВ	
9 мая 1945 года	109

КОСТРОМСКИЕ ПИСАТЕЛИ
УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ
ПО ПРАВУ
ПАМЯТИ И ДОЛГА

За справками обращаться по адресу:
156005, г.Кострома, пл. Конституции, 1.
Костромская областная писательская
организация. Телефоны: 31-21-09, 31-35-02.

**Общее и художественное
редактирование — М.Ф.Базанков**
**Набор, техническое редактирование, дизайн,
оригинал-макет — писательская организация.**

**Оформление сборника по графике из книг В. Корнилова,
Е. Старшинова, А. Румянцева.**

Издание осуществлено по областной программе.

Сдано в набор 05.01.2005. Подписано в печать 24.02.2005.

Формат 84х108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Уч.-изд.л. 10,2. Усл. п. листов 7. Заказ №00000.
Тираж 500 экз.

**Отпечатано в областной типографии им. М.Горького
г. Кострома, ул.П.Щербины,2.**